

0-38

№ 1 • 1979
ОГНИ
КУЗБАССА
январь — март



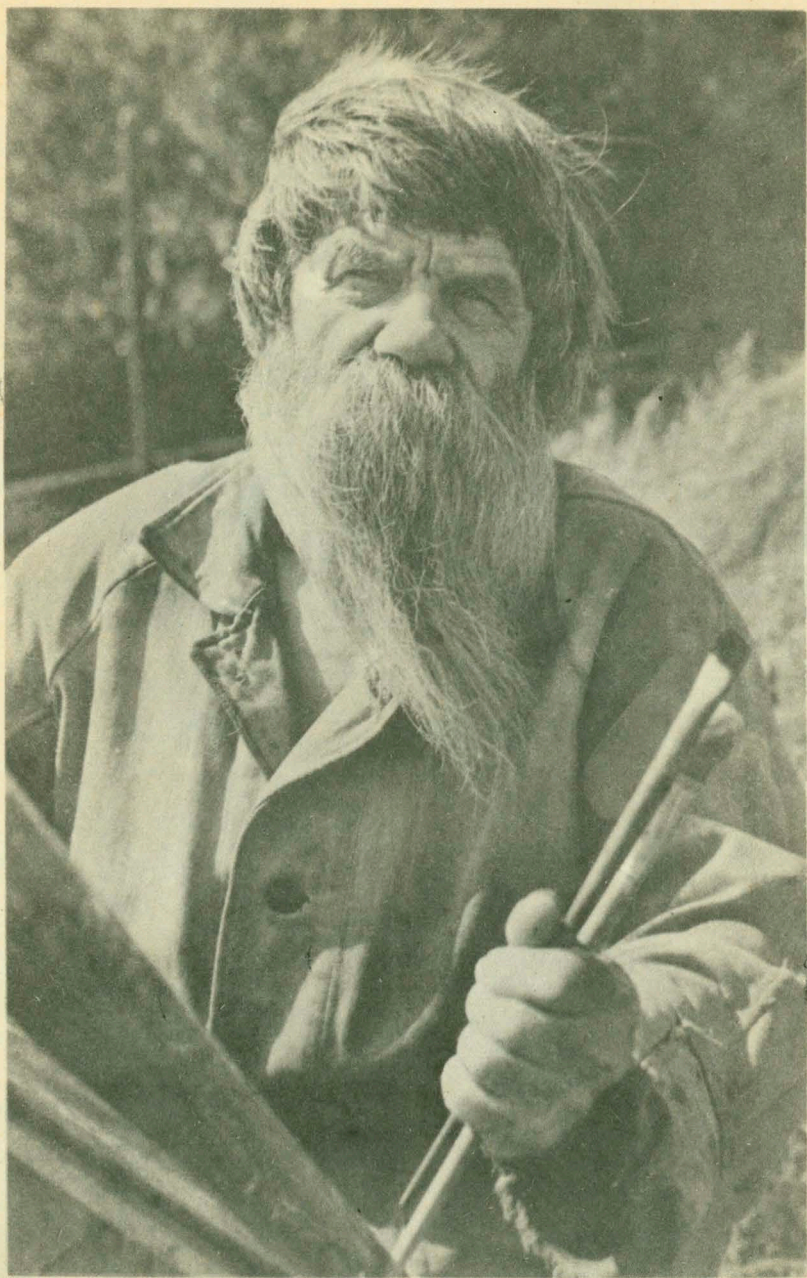


Фото В. Грызыхина. Самодеятельный художник Иван Егорович
Селиванов.

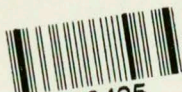
ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ,
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

Выходит ежеквартально

Год издания 31-й

№ 1(62)



390425

В Н О М Е Р Е

СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗМЫШЛЯЮТ

М. Беркович. *Гидродобыча: вчера, сегодня, завтра.*
Интервью 3

СТИХИ

Владимир Поташов. *«На снимке я изображен...»*
Гефест. Метла. 12
Валерий Ковшов. *Первый день лета.* Поэма. 25

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Валерий Берсенев. *Дело весны. Когда муж стихи*
пишет. Гроза. Стихи. 45

ПРОЗА

Владимир Власов. <i>Чистота. Бойкот. Политик. Рассказы.</i>	14
Екатерина Дубро. <i>Трефи-козыри. Рассказ</i>	30
Любовь Скорик. <i>Сюрприз. На посту. Рассказы.</i>	46

ИСКУССТВО

Мэри Кушникова. <i>Прокопьевский мастер и «Пермские боги».</i>	59
--	----

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Анатолий Сосимович. <i>Время платить долги.</i>	67
---	----

СЛОВО — КРИТИКЕ

Евсей Цейтлин. <i>Мужество доброты (О прозе Екатерины Дубро)</i>	74
Владимир Копылов. <i>Тема человечности и добра (Заметки о книге Зинаиды Чигаревой «Свет мой ясный»).</i>	81

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

Владимир Матвеев. <i>В чей огород камешки?</i>	86
Вл. Аиловский. <i>«ИзяЧная словесТность» (Из рукописей, присланных в редакцию альманаха)</i>	87
В. Андрианов, Г. Ефремов. <i>Приглашение к улыбке</i>	87

Редактор В. М. МАЗАЕВ

Редакционная коллегия: В. М. Баянов, Г. А. Емельянов, И. М. Киселев, В. Ф. Куропатов (отв. секретарь), В. В. Махалов, З. А. Чигарева, Г. Е. Юров

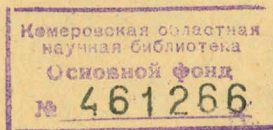
Адрес редакции: 650099, Кемерово-99, Советский пр., 40,
тел. 6-26-95, 6-85-14.

Рукописи не возвращаются

Ведущий редактор Т. Махалова, художественный редактор А. Роговский, технический редактор Г. Манохина, корректор В. Лузина

Сдано в набор 1.XI.1978 г. Подписано к печати 30.I.1979 г.
Формат 70×90^{1/16}. Бумага типограф. № 3. Усл.-печ. л. 6,44.
Уч.-изд. л. 8,14. Тираж 5000. ОП102420. Заказ № 16680. Цена 45 коп. Кемеровское книжное издательство. Кемерово, Ноградская, 5. Полиграфкомбинат. Кемерово, Ноградская 5.

О 70500—19 28—79
М 145(03)—79



Специалисты размышляют

ГИДРОДОБЫЧА: Вчера, сегодня, завтра

Кузнецкий бассейн пока единственный в стране, где уголь добывают всеми четырьмя известными способами: подземным, открытым, гидравлическим и методом подземной газификации. Но за последние годы особенно быстро стала развиваться гидравлическая технология. Еще недавно гидродобыча считалась полуопытной, а сегодня в бассейне создано научно-производственное объединение Гидроуголь, которое приступило к реализации многолетней программы по внедрению этого нового технологического направления в нашей угольной промышленности.

Как известно, в пору технического прогресса, когда создаются гигантские предприятия, промышленные комплексы, всякая новая технология обязательно влечет за собой большие или малые изменения в нашей жизни, поскольку оказывает на нее и социальное, и экологическое влияние. Каково же влияние гидродобычи на условия труда горняков, на состояние окружающей среды и, разумеется, на общественную производительность труда? Об этом журналист Михаил БЕРКОВИЧ беседует с генеральным директором объединения Гидроуголь А. Е. ГОНТОВЫМ.

— Александр Егорович, Министерство угольной промышленности СССР сейчас очень много внимания уделяет развитию гидродобычи. Об этом свидетельствует создание в Новокузнецке крупнейшей гидрошахты «Юбилейная», перевод некоторых «сухих» шахт на «мокрый» способ отработки месторождений, ну и, наконец, создание вашего объединения. Очевидно, это связано с какими-то преимуществами новой технологии? В чем они заключаются?

— Начну с небольшого экскурса в историю. Прежде всего хочу отметить, что приоритет гидродобычи принадлежит Советскому Союзу. Первые попытки разрушить угольный массив

струей воды под большим давлением начались еще в середине тридцатых годов.

У гидродобычи долгий и трудный путь. После окончания Отечественной войны был создан в Новокузнецке Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт — ВНИИгидроуголь. Тогда же на нескольких шахтах начали проводить экспериментальные пробы добычи угля гидравлическим способом и транспортировки его в потоке воды. Сначала, на предприятиях создавали специальные участки, работавшие под руководством института. Но настоящего признания новое направление не имело. Даже с вводом в

эксплуатацию такой крупной шахты, как «Юбилейная», нельзя было утверждать, что новая технология наконец нашла свое место под солнцем.

С вводом в эксплуатацию «Юбилейной» начались поиски систем отработки угольных пластов, технологических схем, оптимальных технических средств для крупной гидрошахты. Кроме того, ни одно, даже не очень сложное дело не обходится без хорошо подготовленных кадров. У нас их не было. Нужно было их воспитать. Причем не просто специалистов, умеющих обращаться с техникой, но таких людей, которые бы поверили в не очень-то тогда производительную технологию и стали ее убежденными сторонниками.

Научным полигоном гидродобычи была и остается сейчас «Юбилейная». Но что это за шахта? Когда-то строили «Байдаевскую-Северную-1» и «Байдаевскую-Северную-2». Потом их объединили чисто административно, формально. А по существу это и сейчас две самостоятельные шахты, работающие в разных условиях. Если на долю первой достались пласты малой мощности, очень неудобные для выемки, то вторая отработывала сравнительно благоприятные пласты средней мощности, малоколчеданистые и залегающие спокойно, то есть с небольшим количеством нарушений.

Суммарная проектная мощность двух шахт — три миллиона тонн угля в год, производительность труда — 205 тонн на одного рабочего в месяц. Неслыханная по тем временам. Но добиться проектных показателей удалось не скоро. Проект Кузнецкой центральной обогатительной фабрики имел столько недоработок, что шахта больше простаивала, чем добывала уголь. Строительство фабрики такой мощности должно стоить около 50 миллионов рублей, а на эту затратили только 25 миллионов. Авторы гидродобычи утверждали, буд-то «мокрая» фабрика стоит наполовину

дешевле «сухой». Иначе они опасались вообще не получить денег на ее строительство.

— И потом пришлось вкладывать недостигающие миллионы, чтобы добиться нормальной работы?

— Совершенно верно. Но что такое реконструкция во время эксплуатации? Постоянные аварийные остановки, тревожения, неприятности, упреки и разногласия начальства приносила нам фабрика. Это помнят многие работники «Юбилейной». «От вашей гидродобычи, — говорили нам, — хлопот много, а толку мало».

— Это одна из причин медленного развития новой технологической направленности в Кузбассе. Но были и другие?

— Главная из них заключалась в том, что в стране почти не было заводов, выпускающих оборудование для гидрошахт. Любую задвижку, любой механизм приходилось делать кустарным способом в своих мастерских, на соседних заводах. И обходилось все это втридорога и не всегда соответствовало техническим требованиям. Это формировало негативное отношение к новому направлению. Опровергнуть его можно было только отличными технико-экономическими показателями, большими производственными успехами.

— Но уже тогда, в начале семидесятых годов, в распоряжении гидродобытчиков был «товар», который можно было показать лицом. Я вспоминаю, как однажды приехал на «Юбилейную» специалист из Министерства угольной промышленности СССР. Он тогда разговаривал с Геннадием Николаевичем Смирновым. Не верилось, что его бригада могла пройти за месяц пять километров горных выработок. Смирнов пригласил его в забой и продемонстрировал возможности комбайновой нарезки с применением гидротранспорта, а заодно и свое мастерство. За пятнадцать минут он «отмахал» шесть метров.

Гость подсчитал — получилось 144 метра в смену. Для комбайна ПК-3, которыми проходят горные выработки в «сухих» шахтах, это десятидневная норма.

— Да, такие темпы впечатляют. Бригада Героя Социалистического Труда Николая Михайловича Романцова проходит за месяц столько выработок, сколько на обычных шахтах — за год.

За годы восьмой и девятой пятилеток на «Юбилейной» было установлено около десяти рекордов по проходке горных выработок и по скоростной добыче угля. На предприятии появились специалисты, до тонкостей овладевшие технологией, убежденные сторонники ее.

Но сомневающихся по-прежнему оставалось много. И только когда бригада Геннадия Николаевича Смирнова первой в стране добыла в 1973 году более миллиона тонн угля, о гидродобыче заговорили всерьез. Потом эта бригада давала 1,25 и 1,5 миллиона тонн, в 1976 году она взяла шефство-наставничество над комсомольско-молодежной бригадой Евгения Мусохранова. В тот год два коллектива выдали по миллиону тонн угля, а в 1977 году к ним присоединилась третья бригада — Рима Хамидовича Мингулова. «Юбилейная» стала единственной в стране шахтой, где три бригады могут добывать по миллиону и больше тонн угля в год.

— Но дело не только в количестве. В наше время на первое место выходят экономические показатели, прежде всего, производительность труда, себестоимость продукции. Сегодня они определяют лицо любого предприятия. А на «Юбилейной» эти показатели значительно лучше, чем даже на самых передовых шахтах с обычной технологией. Очевидно, и в этом секрет успеха?

— Сегодня нужно говорить уже не об отдельных предприятиях, пусть даже очень крупных и благополучных. Лучше всего сравнивать работу соседствующих производственных объединений. Например, в Гидроугле себестои-

мость одной тонны угля на 3,5 и на 2 рубля ниже, чем — соответственно в Прокопьевскугле и Южжубассугле, а производительность труда выше — в 2 и 1,6 раза. При этом нельзя не учитывать, что на нашей себестоимости до сих пор отражается отсутствие серийно выпускаемых агрегатов и механизмов.

В нынешней пятилетке коллектив «Юбилейной» обязался довести производительность труда до 300 тонн угля на одного рабочего в месяц. Обязательства очень высокие, но у нас нет сомнения, что они будут выполнены.

— Это очень хорошая уверенность, Александр Егорович, но хотелось бы знать, на чем она основана? То есть откуда коллектив гидрошахты черпает резервы, ведь известно, что за годы девятой пятилетки ему удалось довести производительность до 205 тонн на одного рабочего в месяц?

— Да, действительно так. И нужно дополнить, что этот показатель на «Юбилейной» в полтора раза выше, чем на «Зыряновской» и в два раза выше, чем на «Нагорной» — лучших шахтах бассейна.

Как я говорил, «Юбилейная» — это две самостоятельные шахты, объединенные лишь административно. Каждая из них имеет свои горно-геологические условия. Так вот, на второй шахте производительность труда сегодня — 300 тонн угля на одного рабочего в месяц.

Ученые ВНИИ Гидроугля подсчитали, что если сегодня построить шахту, где выемка угля и проходка горных выработок будут организованы по методу бригад Смирнова и Романцова, то производительность труда на ней достигнет 625 тонн. Применительно к «сухой» технологии такой показатель называют лишь тогда, когда говорят о шахте будущего, для которой еще нужно создавать технические средства. Поиски новых технологических схем отработки пластов, совершенствование технологии, организация социалистического сорев-

нования и особенно его новой формы — коллективного наставничества — залог успеха коллектива «Юбилейной».

Вот мы и подошли к ответу на вопрос, почему гидродобыча сейчас привлекает к себе такое внимание. Попробуем проанализировать положение дел в некоторых районах бассейна. Начнем с Прокопьевско-Киселевского. За последние десять лет производительность труда здесь растет очень низкими темпами, примерно на 1—2 процента в год, а то и совсем не растет.

Почему? В районе сложнейшие горно-геологические условия. Месторождения в большинстве своем имеют круто залегающие пласты с очень большими геологическими нарушениями. Не один год ученые, инженеры бьются над проблемой механизации труда горняков, повышения безопасности выемки угля во все ухудшающихся — с глубиной — условиях.

Нужно прямо сказать, что на сегодняшний день традиционная технология не знает такого способа, который бы давал надежду на разрешение проблемы. Кстати, его нет не только у нас, но и во всем мире. На пологих пластах за последние два десятилетия техническая революция преобразила горноугольное производство: в забоях появились мощные проходческие и очистные комбайны, комплексы, агрегаты и другая техника. На пластах же крутого залегания ничего подобного не произошло, технология выемки осталась на прежнем уровне, потому что технические средства для этой группы месторождений не только не созданы, но и технически не найдены.

В то же время гидравлическая технология способна резко повысить технико-экономические показатели этого района, решить многие проблемы безопасности труда. Подтверждением тому может служить пример шахты «Красногорская», которая считалась одной из сложнейших в Прокопьевске. Ее бук-

вально замучили подземные пожары, частые выбросы газа и угля из пластов. С переводом на гидродобычу она преобразилась, стала лучшей в городе. Сейчас производительность труда на «Красногорской» в два раза выше, чем на соседней «Ноградской», работающей в идентичных условиях. Это живой и наглядный пример, это неоспоримый факт. Сейчас переводится на «мокрый» способ прокопьевская шахта «Тырганская». Мы уверены, что с развитием объединения, укреплением его материально-технической базы вопрос о переводе на гидродобычу шахт Прокопьевского рудника решится сам по себе.

— Но разве только на крутых пластах гидродобыча может принести большой эффект? «Юбилейная», как известно, обрабатывает пологозалегающие пласты. Таких шахт в бассейне много.

— Разумеется, на пологих пластах легче работать не только обычными методами, но и гидравлическим. Но сейчас я говорю о другом. В Новокузнецке есть Байдаевское месторождение, на котором, собственно, и работают шахты «Зыряновская», «Нагорная», «Новокузнецкая» и другие, в том числе и «Юбилейная». В восьмой и девятой пятилетках производительность труда здесь росла бурными темпами. Главный успех заключен в высокой механизации горных работ. Шахты Байдаевского месторождения отрабатывают пласты средней мощности, полого или наклонно залегающие, хорошо выдержанные тектонически. В таких условиях иного и не должно быть, техника говорит свое слово.

— Доля вашего объединения в общей добыче угля по бассейну пока невелика, а, судя по вашему рассказу, точек приложения сил у новой технологии предостаточно. Какова ближайшая и отдаленная перспективы Гидроугля? Каковы направления его развития?

— Если сравнивать нас с другими объединениями бассейна, то действи-

тельно доля нашей добычи пока небольшая. Тем не менее Министерство угольной промышленности СССР сочло нужным выделить нас в самостоятельную производственную единицу.

Долгое время именно организационная структура сдерживала рост гидродобычи в бассейне. Гидрошахты входили в состав производственных объединений, где преобладала традиционная технология. Естественно, основные финансовые и материально-технические ресурсы направлялись на ее развитие, новому же направлению уделялось мало внимания.

Это происходило потому, что не все оборудование для гидрошахт поставлялось централизованно. Доставать его было трудно, и стоило оно дорого. Сама технология требовала более пристального внимания и хлопот, чем традиционная. Людям, далеким от понимания самой сути гидродобычи, было удобно принизить ее преимущества и выставить на первый план недостатки.

Но теперь все это позади. На пути объединения нет такого рода преград. Кстати, Министерство угольной промышленности СССР сейчас принимает меры для распространения гидродобычи в Караганде, Грузии и в других бассейнах.

В составе объединения шесть шахт, три обогатительные фабрики, завод «Гидромаш» по производству и ремонту оборудования, ВНИИгидроуголь, шахтостроительное управление и некоторые другие предприятия и организации. В прошлом году мы добыли около 11 миллионов тонн угля. Но не нужно забывать, что мы существуем всего лишь четвертый год, у нас все еще впереди.

Что же нам предстоит делать? Если говорить о ближайшей перспективе, то здесь задачи относительно просты и предельно ясны. К 1980 году нужно довести добычу угля до 12 миллионов тонн, а производительность труда — до 150 тонн на рабочего в месяц.

— Как хотите этого добиться?

— Прежде всего, делаем ставку на распространение опыта гидрошахты «Юбилейная», ее лучших бригад: Смирнова, Романцова, Мусохранова, Мингулова. Особую ценность имеет коллективное наставничество, ценность не только экономическую, но и нравственную, воспитательную. Ведь бригада Смирнова, первой в стране добывшая миллион тонн угля, а затем и полтора миллиона, могла продолжать наращивать добычу угля и оставаться единственной в стране.

Но Смирнов рассудил иначе. Шахта развивается, осваивает новый район. Кто же там будет добывать миллионы тонн угля? Нужно создавать несколько бригад с миллионной нагрузкой. Геннадий Николаевич предложил создать комсомольско-молодежную бригаду и взял над ней шефство. Двадцать четыре человека перешло из его бригады в новый коллектив. Причем не первые попавшиеся, а лучшие! В их числе и нынешний бригадир Евгений Мусохранов, звеньевые, машинисты комбайнов, гидромониторщики. Так родилось новое движение в социалистическом соревновании, которое было одобрено Кемеровским обкомом КПСС.

Этот опыт должен сослужить нам добрую службу, подтянуть до передовиков отстающие и средние коллективы на других шахтах — «Инской», «Заречной», «Красногорской», «Тырганской». В нынешней пятилетке министерство не отпустило средств на реконструкцию «Тырганской». Коллектив взялся осуществить перевооружение своего предприятия хозяйственным способом. Но реконструкция предусматривает перевод шахты на гидродобычу, а для этого нужны специалисты, хорошо знающие новую технологию. На «Тырганской» их нет. Тогда шахтеры с «Красногорской» предложили соседям свою помощь. Вот вам первые плоды коллективного наставничества.

Что касается далекой перспективы, то

она, без преувеличения можно сказать, грандиозна. Накопленный опыт ведения горных работ, организации труда и современный уровень техники позволяют уже сегодня проектировать гидрошахты с производительностью труда, в четыре раза превышающей достигнутую на лучших шахтах бассейна, то есть 500—600 тонн угля на одного рабочего в месяц.

Ученые, проектировщики и производственники объединения разработали и обосновали предложения, направленные на более эффективное использование капитальных вложений, на обеспечение таких способов добычи, которые дают наиболее высокие технико-экономические показатели.

На базе шахты «Инской» предполагается создать мощный топливно-энергетический комплекс на гидродобычной основе (шахта — гидротранспорт — Беловская ГРЭС). После реконструкции шахта будет давать от шести до десяти миллионов тонн угля в год при производительности труда 300—400 тонн, а себестоимость добычи не будет превышать четырех рублей за тонну угля. Комплекс полностью обеспечит топливом Беловскую ГРЭС.

Кстати, недавно Министерство угольной промышленности СССР утвердило технико-экономическое обоснование строительства далекого трубопровода. Предполагается с «Инской» перевозить гидротранспортом на одну из ТЭЦ города Новосибирска 4,3 миллиона тонн энергетического угля.

В дальнейшем протяженность гидротранспортного трубопровода будет доведена до 2800 километров. И уголь Кузбасса пойдет по трубам в европейскую часть страны.

Как я уже говорил, объединение приступило к реконструкции «Тырганской». Но мы считаем это лишь первым шагом. В дальнейшем предполагается соединение на одном горизонте полей шахт «Тырганская», «Зиминка», «Про-

копьевская» и имени Калинина. Таким образом будет создан крупный гидрорудник мощностью не менее восьми миллионов тонн угля в год. Опять особо подчеркиваю: производительность труда здесь будет 300 тонн на рабочего в месяц. Вот вам и решение проблемы Прокопьевско-Киселевского района.

Уже закончена проектная проработка освоения Антоновско-Есаульского участка и даже начаты строительные работы гидрорудника «Юбилейный». Мощность его — 12 миллионов тонн угля в год. Пока здесь будет третий район гидрошахты «Юбилейная». Месторождение хорошо освоено (связано шоссейной и железной дорогами с городами Кузбасса, есть линии электропередач), расположено неподалеку от шахты и Западно-Сибирского металлургического завода. Все это позволит ввести его в эксплуатацию в самые короткие сроки при сравнительно небольших затратах. На «Юбилейном» производительность труда будет 500—600 тонн, а себестоимость — три рубля за тонну, то есть меньше чем на открытых разработках.

Неподалеку от Антоновско-Есаульского в нынешнем году начинается освоение Кушежковского участка, где будет построен гидрорудник мощностью 12,5 миллиона тонн угля в год. Уже есть приказ министра о том, чтобы ВНИИГидроуголь проработал вариант перевода шахт Байдаевского месторождения на гидродобычу. Институт приступил к выполнению этого задания. Предполагается на Байдаевском месторождении также создать крупный гидрорудник, который будет отрабатывать те самые маломощные пласты, о которых мы говорили выше.

— Замыслы действительно грандиозные. Какими же силами вы намереваетесь осуществить столь крупное шахтное строительство? Ведь для такой гигантской программы необходимы не только огромные материальные, но и людские ресурсы.

— Мы создаем у себя шахтостроительную организацию, которая будет заниматься и реконструкцией и новым строительством, но все-таки главная наша надежда на коллектив комбината «Кузбассшахтострой». Угольные площади на юге бассейна необходимы нам уже сегодня. На «Нагорной», например, осталось совсем мало запасов угля, и дальнейшая ее жизнь связана именно с Кушеяковским участком. В прошлом году бригады «Нагорной» и «Юбилейной» обратились к руководителям комбината, Новокузнецкого шахтопроходческого управления и к рабочим этих организаций с просьбой помочь быстро освоить новое месторождение. Нужно сказать, что шахтостроители с большим пониманием отнеслись к этой просьбе. Составлены мероприятия по освоению участков Кушеяковского и Антоновско-Есаульского, издан совместный приказ по комбинату и нашему объединению, заключен договор о соревновании бригад-смежников, то есть шахтопроходческих и наших. Надеемся, что такое сотрудничество будет плодотворным.

— Итак, гидродобыча — самый экономичный способ отработки угольных месторождений, поскольку гарантирует высокую производительность труда, а себестоимость даже ниже, чем на открытой добыче, считающейся сегодня наиболее экономичной. Но, насколько мне известно, у гидродобычи немало противников, которые утверждают, что на гидрошахтах велики эксплуатационные потери угля в недрах. Если это так, то можно ли сбрасывать со счетов столь серьезный аргумент? Ведь, как бы ни были богаты наши недра, — запасы полезных ископаемых все-таки исчерпаемы. Имеем ли мы право в погоне за легкостью отработки и дешевизной угля нерачительно эксплуатировать месторождения?

— Во-первых, нужно заметить, что сегодня уже нет открытых противников гидродобычи. Преимущества столь оче-

видны, что, возражая против ее развития, можно прослыть неисправимым консерватором или, по меньшей мере, недалеким человеком. Такая перспектива никого не устраивает.

Во-вторых, беспокойство по поводу больших потерь угля в недрах не обосновано. Действительно, на полого и наклонно залегающих пластах эксплуатационные потери в условиях гидрошахт несколько больше. Но давайте разберемся, что такое эксплуатационные потери? Это то, что теряется непосредственно при добыче, из пластов, уже подготовленных к выемке. А есть запасы, которые по различным причинам не включают в балансовые. Это уголь в зонах больших тектонических нарушений, в пластах, залегающих у поверхности земли под рыхлыми отложениями, где неустойчивая кровля, и вести выемку механизированными комплексами невозможно. В маломощных и сильно колчеданистых пластах часто приходится выбирать одно из двух: либо идти на заведомое снижение технико-экономических показателей, либо списывать часть пласта, а то и полностью пласт.

А гидродобыча все такие участки отработывает. Тут она выигрывает за счет своей мобильности. Ведь там, где условия позволяют, мы и сегодня применяем очистные механизированные комплексы, те, что работают на «сухих» шахтах. А там, где нельзя брать уголь комплексами, успешно идет гидромонитор или применяется механогидравлическая выемка.

Так что кроме понятия «эксплуатационные потери» есть еще и такое понятие: «общие потери». Так вот они-то на гидрошахтах намного меньше, чем на «сухих». А на пластах крутого залегания у нас и эксплуатационные меньше. Иными словами, коэффициент извлечения угля из недр при гидравлической технологии выше. Вместе с тем не нужно забывать, что наша технология еще и сегодня далека от совершенства. Нам

предстоит решить многие проблемы. В их числе и проблема потерь, которые можно и нужно уменьшить.

Если вспомнить начало, то на первой в Кузбассе гидрошахте «Подысаевская-Северная», созданной в 1953 году, струя воды из гидромонитора могла разрушать только слабые и трещиноватые угольные массивы, а потери достигали шестидесяти процентов! Но это никого не остановило. Сегодня давление струи в гидромониторе таково, что может разрушать угольные пласты любой крепости, а эксплуатационные потери в пределах двадцати процентов.

— Мы говорим об экономической эффективности новой технологии. Разумеется, она должна иметь большое значение, но и на гидрошахтах уголь добывают люди. Поэтому сам по себе напрашивается вопрос, как работаете горняки в гидрошахте? Как изменился его труд: стал легче или тяжелей, наконец, каково самочувствие рабочего в сильно обводненном забое?

— Шахтерский труд считается одним из самых тяжелых. Тут, я думаю, особых доказательств не требуется. Даже само пребывание в течение рабочего дня в подземелье не может не оказывать отрицательного влияния на организм человека. А если присовокупить к этому тяжелый физический труд, насыщенность рудничной атмосферы угольной пылью, метаном (нередко до взрывоопасной концентрации), то нетрудно представить себе, хотя бы частично, сложность проблем, которые решают ученые и инженеры мира, занимающиеся вопросами улучшения условий труда шахтеров.

Только горняки знают, какие беды приносят им взрывы метана и угольной пыли, внезапные выбросы газа и угля, самовозгорание пластов. В таких условиях особую опасность представляют взрывные работы, без которых пока не удастся обойтись ни одной шахте с традиционной технологией. Ученые, инже-

неры и рабочие гидрошахт стараются отказаться от применения взрывчатки. Если в пятидесятые годы восемьдесят процентов у нас добывалось взрыво-гидравлическим способом, то теперь он сведен к минимуму, а на такой шахте, как «Заречная», вообще не применяется взрывчатка. Кстати, на «Заречной» в течение пятнадцати лет не было ни одного случая тяжелого травмирования. Для любой шахты это — огромное достижение.

Многолетний анализ показывает, что запыленность забоев гидрошахт, даже при механо-гидравлической выемке угля, во много раз меньше, чем в обычных шахтах.

Условия труда рабочих почти всех профессий у нас намного лучше, чем на обычных шахтах. Коэффициент частоты производственного травматизма — в два с половиной раза ниже. Но я не оговорился, употребив слово «почти». Дело в том, что вспомогательным рабочим у нас приходится труднее. Это связано с тем, что на традиционных шахтах уголь от забоев зачастую увозит рельсовый транспорт, который можно использовать и для доставки материалов и крепежного леса в забой. На гидрошахтах уголь транспортируется струей воды, а материалы доставлять пока нечем. Доставка — одна из сложных проблем гидрошахт. Но и в этом направлении сейчас ведутся большие работы, и есть все основания утверждать, что проблема скоро будет решена.

С развитием индустрии перед человечеством все острее встают экологические проблемы, а в Кузбассе из-за большой концентрации промышленных предприятий особенно остро. Не случайно в 1973 году Совет Министров СССР принял специальное постановление о мерах по предотвращению загрязнения бассейна реки Томи неочищенными сточными водами и воздушного бассейна городов Кемерово и Новокузнецка промышленными выбросами.

Вполне естественно, жителям Кузбасса далеко не безразлично, какое влияние окажет на экологические условия их жизни бурно развивающаяся технология.

Что касается воздушного бассейна, то тут есть определенная ясность: схема «шахта—гидротранспорт—потребитель» исключает всякого рода участки погрузки и выгрузки угля, перевозку его в открытых вагонах—источники загрязнения воздуха. Это очень хорошо видно на примере «Юбилейной», которая подает Западно-Сибирскому металлургическому заводу до одиннадцати тысяч тонн угля в сутки по трубам. На шахтном дворе идеальная чистота. В то время как улицы Прокопьевска, Киселевска и других шахтерских городов Кузбасса покрыты угольной пылью. Значит, гидротранспорт вытеснит эту, загрязняющую воздушный бассейн, технологию погрузки и выгрузки, и воздух над ними станет чище.

— А вода? Станет ли она чище?— Спрашиваю об этом потому, что знаю: Кузнецкая ЦОФ сбрасывает часть угольной пульпы, которую по различным причинам не может переработать, в золоотвал Западно-Сибирского металлургического завода, а оттуда она может проникать в Томь. Как известно, уголь содержит в себе серу, а она па-

губна для рек, отравляет в них флору и фауну.

— Да, сбросы угольной пульпы были. Но я уже объяснял, что Кузнецкая ЦОФ— всего лишь первый «блин», который, к нашему великому сожалению, получился комом. Отсюда и сбросы. Вообще на обогатительных фабриках на случай аварий предусматриваются специальные отстойники. Есть отстойник и на Кузнецкой ЦОФ, но его оказалось недостаточно: маловат. Во всяком случае, при проектировании новых предприятий ошибки, разумеется, не повторятся, и реки будут гарантированы от попадания в них рудничных и технологических вод.

В этом смысле у гидрошахт есть большое преимущество. Они не берут воду из естественных водоемов, а используют подземную, ту самую, которая спокон веков считалась злейшим врагом горняков. На «сухих» шахтах она заполняет выработки. Ее приходится откачивать на-гора, и она так или иначе все равно попадает в водоемы, загрязняя их.

Гидрошахты заставляют эту воду добывать и транспортировать уголь, не пускают ее в открытые водоемы. Все это дает нам право утверждать, что и в вопросах экологии гидродобыча имеет несомненные преимущества.

НОВОКУЗНЕЦК



Владимир Поташов

Что мной завхоз руководит
В партикулярном платье.

И про картошку как продукт
Острил в манере лестной
Со мною некий штатский фрукт —
Фотолюбитель местный.

А я шурую, я — молчок, —
Что в зубоскальстве толку.
А он хохочет: «Морячок,
Давай на память щелкну».

Теперь его хулить грешно
За снимок нерадивый, —
Я, право, выглядел смешно
В кружочке объектива.

Такая истовость во мне, —
Я грозен, прямо скажем.
Но нечто было в этом дне
Торжественное даже:

Я был защитником страны,
Ее достойным сыном,
На мне рубаха и штаны
Из грубой парусины.

Я в боевом стоял строю,
На мир смотрел героем,
Поскольку знал, на чем стою
И что стоит за мною.

Я исполнял страны приказ,
Как представитель флота,
Я — наступи заглавный час —
Огонь пройду и воду.

И если вспомнить этот день, —
Черна была работа,
Но бескозырка набекрень
На этом самом фото.

На снимке я изображен
Стоящим в полный профиль.
В тот день я был занаряжен
На склад грузить картофель.

Тогда, лопату сжав свою —
Свой инструмент козырный,
Я грудь выпячивал в строю,
Стоял по стойке смирно.

Поскольку вписан в общий строй,
Я стал, как говорится,
И боевой, и строевой,
И прочей единицей.

И столько рвения во мне,
Так кровь кипит-играет:
Сияет бляха на ремне,
Погоны плечи давят.

И вот тружусь часов с восьми,
А сам соображаю,
Что не снаряды, черт возьми, —
Картошку разгружаю.

И самолюбию вредит
Столь мирное занятие,

Г Е Ф Е С Т

В душе затеплится огонь,
Коль в груди ржавого металла
Вдруг натывается ладонь
На лемех древнего орала.

И если конь, пройдя межой,
Случайно вывернет копытом
Сердечко, тронутое ржой —
Серпа овал полузабытый.

Орудие былой страды...
Витай, душа, в заре вселенской,
Но помни, помни сладкий дым
Из нашей кузни деревенской.

Она и по сей день стоит,
Та завалюха, а когда-то...
Когда-то Миша-инвалид
Работал здесь в пятидесятых.

И я любил в былые дни
Порог топтать, глазами лупить —
Мальчишку хлебом не корми,
Ему железку дай пощупать.

Услышать четкий перезвон...
Сравнимо ль что с тем чудным
звоном?

Вот солнце падает за склон,
Как оковалок раскаленный...

Хоть лоб крести на благовест,—
Божествен дым из кузни черной.
Вот в черном фартуке Гефест
Огонь помешивает в горне.

Вот око щурит на металл,
От жара заслонясь рукою.
Ух, как он молотом играл!
Сегодня встретишь ли такое?

Деревья гривами прядут,
Закат дымит, как хлеб, ядреный,
Ведет симфонию труду
Инструментарий немудреный.

И где начало, где конец
У песни той,— убей, не знаю:
Киянки звонок бубенец,
Кувалда вторит вечевая!..

И песне плыть, и сердцу млетъ,
Ракитам плакать в сумрак летний...
А что еще-то, что — ответъ —
Для сердца русского приветней?..

МЕТАЛА

Поистерлась метла, гляжу,
Вид не тот, что имела когда-то.
Дай-ка, думаю, пересажу,
Поистерлась метла-то.

У завхоза тех метел навал,
Тебе — говорит — любая.
Только я и не выбирал,
Взял, которая с краю.

На черенок ее насадил,
Подрубил, чтоб в бока не сучилась,
Так и этак ее покрутил —
Мировая метла получилась.

Забыл про нее. И вдруг
В цеху, средь железного храпа,
У сердца моего участился стук,—
До чего же знакомый запах?

Едва уловимый, иной,
Не из тех, которые по соседству,
Далекий такой, родной,
Напоминающий деревню и детство.

Запах леса, что ли, корья, хвои,—
Черт-те что в мозговой кадрили!
И ахнул: это ж ладони мои
Запах метлы березовой сохранили.



Владимир Власов

РАССКАЗЫ

ЧИСТОТА

— Заубер махен! Заубер махен! — с утра до ночи покрикивали полицаи, подражая немцам. Можно было и по-русски сказать: «Делайте уборку!» Но по-немецки это звучало внушительнее, словно командовали пленными не свои же русские, а немцы. Лагерь был распределительный. Отсюда брали людей на шахты, заводы, в сельское хозяйство. Боясь не столько инфекционных заболеваний, сколько различного рода комиссий, комендант и его подручные особенно тщательно следили за чистотой и порядком в бараках. Уборка в бараках начиналась с подъема и кончалась перед отбоем. А пленные в любую погоду весь день находились на плацу. Занять их было нечем. Людей держали в строю, заставляли маршировать и ходить гусиным шагом весь день. Командовали полицаи по очереди и изматывали пленных до предела. Часа за два до обеда обычно появлялся старший полицаи Коля Баландист. Прозвище Баландист он получил за то, что любил собственноручно раздавать лагерную баланду, а также за то, что много болтал — травил баланду, как говорили пленные матросы. При всяком удобном случае Коля любил поиздеваться над своими соотечественниками. Раздавая баланду,

он наливал в котелок жижу, а оставшуюся гущу выплескивал в лицо очередного пленного. Тех, кто возмущался, бил тяжелым черпаком в лоб. Но это были только цветочки. Ягодки начинались, когда Коля выступал со своей трепотней перед строем. Черт его знает, откуда он выкапывал рецепты приготовления вкусной пищи. Он рассказывал их со смаком, причмокивая и закрывая глаза от удовольствия. Две тысячи голодных, истощенных людей стояли не шевелясь по два, три часа и слушали, как надо готовить настоящий украинский борщ, люля-кебаб, плов из баранины или из курицы, торты с кремом и без крема и, наконец, шашлыки. Шашлыки были у него главным козырем. Он знал, как готовить шашлык по-карски, шашлык любительский, шашлык из осетрины и даже шашлык по-тувински, хотя сомнительно, чтобы где-нибудь было описано приготовление этого шашлыка. Пленные сглатывали обильную слюну, сплевывали на землю и тихо матерились. А Коля говорил громко и самозабвенно:

— Печень барана режут ломтями толщиной в ладонь и слегка обжаривают на углях. Потом режут на кусочки размером со спичеч-

ную коробку. С двух сторон прикладывают кружочки репчатого лука и заворачивают конвертиком в пленку из нутряного бараньего жира. Конвертики нанизывают на шампур. Печенка томится в оболочке из жира, не теряя своей сочности. Вот в чем секрет этого вкуснейшего шашлыка.

Коля победоносно оглядывал заморенных голодом людей, постукивал по блестящему сапогу хлыстом и заканчивал так:

— Шашлык можно заменить ста граммами свиного сала. Свиное сало можно заменить булкой хлеба. Булку хлеба — ведром воды. Воды в лагере много. Пейте, господа! Вода сильная. Она гребли рвет и вас разорвет.

Пленным, стоящим в задних рядах, было легче — они многого не слышали, особенно если был ветер в спину. Тем же, кто стоял в первых рядах, было хуже. У некоторых начиналась нервная икота. У других кружилась голова. Правофланговый — здоровенный костистый матрос с Балтики — к концу Колиной речи бледнел и пошатывался. Его мutilовало от голода, и он чуть слышно шептал:

— Попадись, гад, мне в руки. Только попадись. Уж я знаю, что из тебя сделать.

Сосед — летчик с обожженным лицом — добавлял тоже шепотом:

— Котлету из него сделать надо...

Очередная комиссия из высокопоставленных лиц нагрянула внезапно, но придрататься было не к чему: в бараках безупречный порядок и чистота, дежурные уборщики скребут и без того чистые ступеньки, пленные маршируют по плацу — совершают прогулку перед обедом, как пояснил комендант.

В карантинные бараки, стоящие в тридцати метрах от общего лагеря, комиссия не пошла, опасаясь заразы. Комендант устроил начальство великолепным обедом, показал баню, дезинфекционную камеру, через которую обязательно проходили все люди из карантина, похвалился.

— На этом рубеже мы убиваем последних вшей.

Высокий однорукий офицер с двумя крестами на груди поморщился, когда комен-

дант — тыловая крыса — сказал «на этом рубеже» и спросил не без ехидства:

— А если за этим рубежом, в общем лагере, мы найдем вошь?

Комендант — молодой, краснощекий, сын крупного торговца, купившего сыну этот пост, — щелкнул каблуками и ответил по уставу:

— Никак нет. — И добавил уже развязно: — Отвечаю ...ящиком коньяка.

Он действительно был уверен в чистоте людей общего лагеря, но для пущей важности позвал Колю Баландиста:

— Скажи, старший полицай, в лагере есть вши?

Коля тоже щелкнул каблуками.

— Никак нет.

Однорукий усмехнулся:

— Прикажете построить пленных.

Комендант громко скомандовал построение и добавил Баландисту чуть слышно:

— Если найдется хоть одна вошь, тебе никто не позавидует, полицай.

Коля умчался. Вернувшись через несколько минут, доложил:

— Военнопленные лагеря Бахольт-2 в количестве тысяча шестьсот шестьдесят человек построены.

Однорукий офицер прошелся вдоль строя, внимательно разглядывая изнуренные, худые лица будущих работников рейха, сказал коменданту:

— На них далеко не уедешь...

Подозвал переводчика, попросил:

— Переведите, чтобы слышали все: тому, кто представит мне на вечерней проверке живую вошь, дам пачку сигарет.

Переводчик кричал так, что на висках у него вздулись вены. Лагерь дрогнул: пачку сигарет, когда одна сигарета среди пленных идет за пайку хлеба! Пачка сигарет — это богатство. Даже Коля Баландист не имел более двух сигарет в резерве, а солдаты охраны получали три сигареты в день. Обыскивали всю одежду, просматривали все швы в гимнастерках, брюках и шинелях, но живых вшей не было. Видно, дезинфекционная камера лагеря была действительно последним рубежом для этих живучих паразитов.

Перед построением на вечернюю поверку комендант спросил Колю Баландиста:

— Ну как?

— Чистота и порядок, господин комендант!

Однорукий попросил переводчика вызвать нашедшего живую вошь. Переводчик вызвал. В ответ — ни звука.

Румяное лицо коменданта расплылось в гордой улыбке. Он даже не мог устоять на месте от радости и восхищения самим собой, шагнул к переводчику:

— Повторить!

Но переводчика опередил чей-то звонкий голос из задних рядов:

— А бить не станете?

Когда переводчик от имени однорукого заверил, что бить не будут и сигареты дадут, комендант, почуяв недоброе, мгновенно съехал и опустил голову.

Растолкав стоящих впереди, выбрался из задних рядов пленный в шинели без хлястика, в пилотке, нахлобученной на самые уши. Он смело направился к однорукому. Строй замер. Однорукий склонился над ладонью пленного, сказал коменданту:

— Полюбуйтесь. И готовьте коньяк. — Приказал пленному: — Убей.

Пленный придавил ползающую по бумажке вошь ногтем. Услышав щелчок, комендант брезгливо поморщился.

Однорукий достал пачку сигарет, отдал пленному, тот быстро скрылся за спинами товарищей.

Правофланговый матрос шепнул летчику:

— Видал, что делает пехота?

Летчик ответил:

— Красиво сработано. Ты придумал?

Матрос не ответил. Он с довольной ухмылкой смотрел, как комендант сорвал с рукава Баландиста повязку и дважды хлестнул Колю этой повязкой по лицу.

В следующую минуту, сопровождаемый пинками коменданта, Коля Баландист направился в общий строй.

Матрос кашлянул и сказал тихо:

— Думаи вместе, а делал он один...

«Про жарка» одежды и мытье заключенных в бане были начаты немедленно. Но вещи тре-

бовали более длительной обработки, и сотни людей, ожидая свою одежду, стояли голыми на ветру.

Матрос и летчик держались все время возле Коли Баландиста, словно боялись потерять его в толпе голых людей. Хотя найти его не составило бы большого труда: полицией отбелся на ворованных харчах, как добрый поросенок, сытое розовое тело его резко выделялось среди людей, напоминающих скелеты, обтянутые кожей. Люди мерзли и жались друг к другу, чтобы согреться. Матрос растирал спину летчика огромными руками и негромко рассказывал:

— Пехотинца Егора Бубликова я знаю еще по этапу. Он у нас был за старшего и делил хлеб. Братцы-пленяги это не каждому доверяют. Еще там он как-то проговорился, что метает гранату на полста метров и без промаха. Понял?.. Так вот, как однорукая сволочь объявила охоту на вшей, я был уверен, что в нашем общем лагере этот зверь уже не водится, всех пожарили. А в карантине они еще попадались, хотя и там гавкали с утра до ночи полицаи: «Заубер махен! Заубер махен!»

Матрос так удачно передразнил полицейав, что летчик тихо засмеялся, спросил матроса:

— Иван Филиппович, а ты знаешь, что это значит в дословном переводе?

— Знаю: значит «делать чистоту». Будь она проклята, такая чистота, когда тебя после бани мажут карболкой под мышками и промеж ног, а потом часами держат голым на ветру...

— И ты, значит, решил использовать гранатометчика Бубликова? — догадался летчик.

— Точно.

И матрос рассказал, как он написал записку, привязал ее к камню и попросил Бубликова метнуть этот снаряд в карантин через две проволочные ограды, метров на сорок. Пехотинец сделал это в два счета. Из карантина таким же манером переслали живую вошь. За услугу Бубликов перебрал ребятам пару сигарет.

Бубликов неподалеку согревался бегом на месте. Увидев Колю Баландиста, он подошел к матросу и спросил:

— Не пойму, чем тут воняет?
— Предателем воняет, — ответил матрос.
— Мерзкий запах, — добавил летчик.
— Редко хуже бывает, — согласился Бубликов.

— Держись, Егор, на всякий случай поближе к нам, — посоветовал матрос.

Бубликов понимающе кивнул.

Утром санитары, вытаскивающие волоком

трупы умерших за ночь пленных, обнаружили, что Коля Баландист мертв. Новость мгновенно облетела лагерь. И полицейские как-то вяло и неуверенно покрикивали в это утро свое обычное «заубер махен!»

— Делайте чистоту, делайте чистоту, — передразнил их летчик.

— Все чисто сделали, — проворчал матрос, подмигнув товарищу.

БОЙКОТ

Сигналы «подъем» и «отбой» в концлагере подавал самый старый по возрасту заключенный. Говорили, что ему далеко за восемьдесят. Этот враг рейха еле передвигал ноги, но пайку хлеба зарабатывал честно — звонил в колокол.

Будто в насмешку над заключенными, по внешней нижней кромке колокола искусной вязью вилась надпись: «Утоли моя печали». А по внутренней — «Дар купца Свиинникова». Если бы купец знал, как утоляет печали земляков его дар в далекой чужой стране, он бы перевернулся в гробу.

На подъем полагалось пять минут. За это время надо было идеально заправить постель на нарах, умыться, одеться и сесть за стол.

Утром давали только кружку ячменного кофе. Редко кто из заключенных, не получающих посылок из дома, сберегал с вечера до утра свою пайку. Обычно все съедали хлеб вечером сразу после дележки. Старый звонарь не получал посылку, но пайку всегда оставлял на утро. Он неторопливо пил кофе и медленно, с наслаждением жевал голыми деснами хлеб. Но однажды звонарь не нашел в шкафчике свою пайку. Не веря глазам, старик трясущимися руками обшаривал полки шкафчика, невнятно бормотал:

— Майн брот! Майн брот!

Высокие узкие шкафчики — один на пять человек — стояли вдоль стен и никогда не запирались. На ночь к ним вплотную придвигали столы. Украсть у товарища — великий грех. Украсть пайку хлеба — самое тяжкое преступление в лагере. За это могут убить са-

ми заключенные, могут выдать на команду испытателей обуви, откуда редко кто возвращался живым.

Старик знал лагерные законы. Он не торопился объявлять о пропаже, может, хлеб взяли по ошибке соседи. Но соседи были из тех, кто никогда не оставлял хлеба. И все же через несколько минут весь блок № 37 знал: украдена пайка хлеба. А еще через минуту перед старостой блока, бандитом Вилли Краузе, стояла ночная вахта — пять человек.

В прошлую ночь вахту несли, сменяя друг друга через полтора часа, два поляка, бельгиец и двое русских. Поляков и бельгийца Вилли сразу отпустил, буркнув себе под нос, что люди, получающие посылки, вне подозрений. А русским для начала погрозил кулаком и потребовал: «Сознавайтесь!»

Номер 60232, Иван Берестовский, мужчина лет под сорок, коренастый, ширококостный, когда-то сильный, отрицательно покачал головой: «Не в чем сознаваться».

Номер 67939, Владимир Ласкин, — длинный костлявый юноша девятнадцати лет, сказал тихо:

— Не брал.

Староста отозвал в сторонку нескольких заключенных, сидевших в лагере уже лет по восемь, и, посоветовавшись с ними, объявил, показывая пальцем на русских:

— Блок объявляет этим собакам бойкот. Допрос вечером. Сейчас построение.

Ласкин шепнул Берестовскому:

— Ничего не понимаю...

— Скоро поймешь, — пообещал тот.

Кое-что Ласкин понял тут же: выходя из блока, он попросил у испанца, с которым вместе работал, докурить. Испанец отвернулся, скрывая гримасу жалости, и, бросив окурок на землю, раздавил его деревянной подошвой ботинка.

До самого вечера ни с Ласкиным, ни с Берестовским никто не обменялся ни единым словом. Их будто не замечали и обходили, как прокаженных. Берестовский спросил:

— Теперь ты понял, что такое бойкот? Подыхать будешь — глотка воды никто не даст. Это страшней чего-нибудь другого.

Но Берестовский сам еще не знал, что ждет их впереди. Вечером Вилли снова предложил сознаться. Получив отрицательный ответ, скандовал:

— На шкаф!

Берестовский и Ласкин поставили на стол табуретки и залезли на шкаф.

Вилли грубо приказал:

— Сесть на корточках, руки вперед, задницей ног не касаться!

Они сделали все, как велел староста.

— Дать им по табурету! Пусть держат за кончики ножек и сидят смирно. Кто уронит табурет, будет бит!

В такой позе даже без груза человек устает за несколько минут. У наказанных же в руках были табуретки. И они держали их за кончики ножек, отчего эти проклятые табуретки казались сделанными не из дерева, а из свинца. Залезая на шкаф, Ласкин случайно глянул на будильник, которым пользовалась ночная вахта, и отметил: «Половина девятого».

Он сидел, стиснув зубы от напряжения, и чувствовал, как покрывается потом лоб, лицо, тело, как пот щиплет глаза. Вытереть пот было нельзя, шевелиться нельзя, переменить позу нельзя. Он зажмурился. И тут же услышал:

— Открыть глаза!

Он открыл глаза и боковым зрением увидел, как побледнел Берестовский, как пляшет в его руках табуретка. Ласкин не успел подумать, сколько они еще продержатся, как заметил, что Берестовский наклоняется вперед. Наклонился он медленно, как в кино при за-

медленной съемке, а упал в один миг, разбив лицо о табурет.

— Ведро воды! — крикнул Вилли.

На Берестовского вылили ведро воды. Он застонал и шевельнулся. Староста толкнул его в бок носком лакированного ботинка.

— На нары!

Берестовского волоком потащили на нары. Ласкин почувствовал, что тоже упадет, сейчас потеряет сознание и упадет. Он глянул на будильник: «Без пяти девять».

«Лучше уж самому», — решил он и, оттолкнув табурет, рухнул с двухметровой высоты на пол.

На него вылили ведро ледяной воды, но он даже не вздрогнул. Остроносый ботинок толкнул под ребра.

— На нары!..

На следующий день все повторилось. На третий тоже..

— Это страшней, чем допрос в гестапо, — сказал Берестовский.

К концу недели Берестовского и Ласкина нельзя было узнать: разбитые опухшие лица, руки дрожали, взгляд провалившихся глаз — испуганный и затравленный.

Ночь под воскресенье принесла новую беду — исчезла еще одна пайка хлеба. Ее снова украли у звоняря. Старик плакал, как ребенок, что-то шептал беззубым ртом.

Вилли Краузе пришел в недоумение: ночную вахту несли немцы, получавшие посылки и, значит, бывшие вне подозрений.

Кражу опять приписали русским.

Заключенные блока № 37 гудели, как рой рассерженных пчел. Берестовский и Ласкин не смели смотреть на своих товарищей. Что передумали наказанные за эти дни, знали только они сами.

Однажды Ласкин не выдержал и спросил у Берестовского: — Иван, может, это ты берешь хлеб? — и устыдился своих слов.

Берестовский пытливо посмотрел на парня, сказал хриплым от волнения голосом:

— То же самое я хотел спросить у тебя. Вот до чего нас довели, сволочи...

У Ласкина из уголка глаза скатилась слеза: вечером опять лезть на шкаф. Он вытер слезу рукавом полосатой куртки. В горле ко-

мом каталась обида, душила, мешала говорить.

— А что, если я возьму на себя? Хоть ты, Иван, не будешь мучиться, а то ведь оба пропадем...

Берестовский крепко сжал руку Ласкина выше локтя, сказал мягко:

— Милый мальчик, хороший ты, душевный, да ничего не понимаешь: настоящий вор этому будет рад, а на всех русских — срам и позор. Нас ведь тут за людей не считают.

И он рассказал Ласкину, что власть в лагере пока держат уголовники, а те, кто сочувствует русским, молчат. Это ужасно, когда тебе не верит друг, твой товарищ по несчастью. Наговорить на себя — значит, предать себя и всех русских. Любая ложь — предательство по отношению ко всем русским. Надо терпеть до конца. Оклеветав себя, можно и выжить, но душевная рана никогда не заживет. Она всегда будет кровоточить, и одно воспоминание о том, что ты пал духом, сохрал и подвел товарищей, будет травить эту рану, как густо посыпанная соль. Он еще раз пожал руку Ласкину, сказал:

— Наши ребята никогда не простят, если мы сломаемся на допросах у Вилли.

В тот же день в туалете, нарушая бойкот, русский заключенный по кличке Морячок сунул Ласкину половину сигареты, шепнул:

— Крепитесь, братцы! Так держать!

Теперь на шкафу они сидели не более пяти минут и падали без сознания. Тело каждого было в синяках. У Берестовского в последний раз пошла горлом кровь. Даже отпеты бандиты уходили из блока, когда Вилли загонял русских на шкаф.

Все шло в блоке по раз и навсегда заведенному порядку, однако в среду утром заклю-

ченные, бегущие к умывальникам, были внезапно остановлены в дверях. Вилли Краузе и Морячок стояли рядом и, пропуская людей по одному, командовали:

— Открыть рот!

— Открыть рот!

Все послушно открывали рты и бежали умываться. Вдруг Вилли схватил за горло одного бельгийца, потащил его на середину барака, крича:

— Вор! Вор!

Губы и язык бельгийца были испачканы фиолетовыми чернилами.

Это Морячок посоветовал Вилли испортить одну пайку хлеба, разрезать ее и посыпать растертым в порошок химическим карандашом. Хлеб для этого дела он пожертвовал своей. Пайку звонаря спрятали, а на ее место положили хлеб с порошком.

Пойманный с поличным бельгиец рассказывал, что, не получая второй месяц посылок, очень ослаб. Пользуясь тем, что вахтенные ходили будить сменщиков, легко воровал хлеб из шкафчика, к которому стол плотно придвинуть было нельзя из-за неровности пола. Между столом и шкафчиком оставалась щель, куда можно свободно просунуть руку.

Вечером Вилли, посоветовавшись со старыми заключенными, объявил:

— Блок решил отправить вора в команду испытателей обуви. Бойкот русским прекратить. Пусть русские не обижаются. Здесь — лагерь. Здесь по-другому нельзя. Иначе мы сожрем друг друга.

— За малым не сожрали, — шепнул Берестовский Ласкину.

На плацу старый звонарь ударил в колокол «отбой».

Дар купца Свиининникова снова утолял печали сорока тысяч человек.

ПОЛИТИК

В лагерной бане им выдали полосатую одежду и велели пришить против сердца и на правое бедро номера. У Сережки номер 150271, у Витьки — 150272. Перед номе-

ром — красный треугольник перечеркнут буквой Р. Сережке двенадцать лет, Витьке одиннадцать.

Бригадир банщиков, старый уголовник,

глядя на юных каторжников, захохотал. Его помощник угодливо хихикнул:

— Тоже мне политические? Им бы еще в песочке играть.

Бригадир оборвал смех, искоса посмотрел на помощника, словно испугался, что тот читает его мысли. А думал он о том, что дела у рейха, видно, совсем плохи, если ярлыки политических преступников вешают детям. Вслух сказал:

— Начальству виднее.

Сережку и Витьку взяли прямо из цеха сборки турбин, где они подметали пол и убирали мусор на рабочих местах мастеров-немцев. Никто не знал, что произошло с очередной партией турбин, но всех мастеров увезли в гестапо, с ними и ребятишек. Ребят допросили и бросили в концлагерь.

Одетые в мешковатую одежду, сшитую для взрослых, они стояли возле писаря, распределявшего новичков по работам, и переминались с ноги на ногу. Ноги болели от грубых деревянных башмаков. Подошел энергичный, чисто одетый заключенный с открытым волевым лицом, посмотрел на ребят, улыбнулся, сказал писарю:

— К инвалидам, чистить картошку. Там с голоду не умрут, — и пошел пружинисто ступая, оглядываясь на малышей.

Сереза, довольно хорошо усвоивший немецкий язык, шепнул Витьке:

— Хороший дядька. Он тоже политический.

Витька промолчал. У него рябило в глазах от разных значков, нашитых на номерах заключенных, и он никак не мог понять, почему у одних красные треугольники, у других зеленые или розовые, а у некоторых — фиолетовые и даже черные, а иногда вместо треугольников квадраты и разные буквы: Р, И, Г, R и другие. Изредка попадались заключенные с нашитыми на груди и спине желтыми шестиугольниками-звездами, а еще реже с мишенями, как в тире для стрельбы. Все они, построенные по пять человек в ряд, маршировали колонной вокруг плаца под команду какого-то толстого заключенного. Витя попросил Сергея объяснить эти знаки различия, но тот и сам ничего не знал, кро-

ме того, что красный треугольник — отличительный знак политического заключенного.

— Вот мы с тобой политические, — рассуждал он, хмуря тонкие бровки. — Мы ведь пионеры, стало быть, для фашистов — враги политические, — он погладил свой красный треугольник, сказал серьезно: — Это вроде пионерского галстука теперь. И ты, Витек, не тушуйся — красный не каждому дают. Зеленые и черные еще неизвестно — кто. А что красный главнее всех — это уж точно.

Витька пригладил топорщившийся номер с красным треугольником, приосанился и выпятил тощую грудь.

За две недели карантина они узнали все знаки. Зеленый — уголовник (по-лагерному — бандит), черный — саботажник, фиолетовый — баптист и т. д. Буква означает национальность.

Команда на чистке картофеля небольшая, человек пятьдесят. Бригадир — немец, социал-демократ Эмиль Бреш. Он посадил юных каторжников к деревянному корыту, наполненному водой, выдал фартуки, ножи для чистки картошки, попросил Сергея перевести Виктору:

— Чистить хорошо. Пятен на картошке не должно быть. — Погладил Витьку по стриженной голове, вздохнул, — может, вспомнил своих детишек? — ушел, тяжело подвлакивая правую ногу.

Вдоль длинных корыт тесно сидели заключенные (в основном инвалиды), быстро и ловко чистили картошку и разговаривали. Говорить не запрещалось. В углу на скамье сидел, поставив карабин между ног, хилый охранник с остроносым птичьим лицом. В полуподвальном помещении было сыро, прохладно. Охранник сидел неподвижно, мерз, и на конце острого носа все время висела прозрачная капля. Время от времени он вытирал ее рукавом мундира, а на ее месте появлялась другая. Он не спускал глаз с входной двери, боясь пропустить приход начальства. Если в дверях появлялся офицер, солдат вскакивал, громко и четко рапортовал. Заключенные его совсем не боялись и даже покуривали в туалете в рабочее время, за что можно было за просто схлопотать двадцать пять ударов по

мягкому месту. Но в туалете на уровне пола в стене находилась круглая ниша, переходящая в бетонную трубу, по которой были проложены силовые, освинцованные и осветительные кабели. В трубе сквозило, и табачный дым исчезал моментально. Только курить надо было стоя на коленях и нагнувшись низко к полу. Труба была довольно тонка, пролезть в нее мог разве очень тощий человек или ребенок. Заключенные шутили:

— Собрали инвалидов и охранника инвалида приставили. Наверное, нас и в крематорий с ним повезут, — мол, горите вместе со своим шефом.

Охранник слушал это, печально улыбался и молчал. В армию его взяли в 1944 году прямо из больницы, где ему оперировали желудок. Боли после операции остались. А когда он двигался, то слышал в животе постоянное бульканье. Поэтому охранник старался шевелиться как можно меньше, и казалось, весь день только и делает, что прислушивается к звукам в своем животе да смотрит на дверь. Отсутствие диеты, очевидно, сказывалось на здоровье захудалого эсэсовца, и у него постоянно пучило живот. Иногда он не мог сдержаться и звучно выпускал газы. При этом сильно конфузились. Рядом с ним сидел худой, как скелет, одноглазый заключенный небольшого роста с красным треугольником. Видно было, что он тоже не здоров. Он часто доставал из кармана коробочку с пилюлями, глотал пару штук и предлагал охраннику. Солдат брал, благодарил и, склонив голову набок, опять прислушивался к шуму в своем животе. Одноглазый был заядлым курильщиком. Однако в отличие от других курил редко, но подолгу. Перед выходом в туалет всегда спрашивал разрешения у солдата. Тот согласно кивал, пытался шутить:

— Не больше часа, а то кто-нибудь наложит в штаны, если туалет будет занят.

Сереежку в Витьку никто не подгонял, никто не ругал. Все работали быстро и чисто, и ребятишки тоже старались не отставать. Перед обедом подошел Эмиль Бреш, переворачивал очищенную картошку в ванне, сказал:

— Гут, — и попросил чистить быстрее. Пояснил, что, пока не будет начищена нор-

ма, никто не уйдет. Хоть до утра работайте, а норма должна быть. Упрекнул, что команда часто задерживается часов до десяти вечера.

После обеда чистили морковь и брюкву. Ели до отвала. Эмиль молчал. Охранник тоже молчал. Ему было все равно, лишь бы не болел живот.

После длительной голодовки человек долго не ощущает чувства сытости, сколько бы он ни ел. Все старые заключенные уже наелись, а ребята глотали и глотали плохо пережеванную морковь. Сидевший напротив седой сухорукый заключенный с зеленым треугольником и номером 48 сказал по-немецки:

— Хватит, а то заболеее.

Сергей перевел. Виктор продолжал жевать. Сорок восьмой номер сдвинул над переносицей седые брови, глянул так строго, что мальчишка чуть не подавился. У сорок восьмого левая рука в локте не гнулась и была тоньше правой. В левой он обычно держал картошку, а правой чистил. Но как чистил? Нож только сверкал. Почти через каждое мгновение картошина, без единого пятнышка, летела в корыто. Ребята загляделись на руки старого заключенного. А тот весело подмигнул им и стал чистить еще быстрее. Теперь уже и движений отдельных уловить было нельзя. Одна за другой из рук выскакивали чистенькие картошины.

— Нравится? — спросил хромой русский, сидевший рядом с Сереежей. — Золотые руки у этого человека, — и засмеялся. — Поистине золотые. Они перетаскали столько золота, сколько у другого государства и не было никогда. Это Генрих Вагнер, вор международного класса, инженер по образованию.

Ребята с восхищением смотрели на «золотые руки», когда-то вскрывавшие сейфы, а теперь чудесно быстро чистившие картошку. Вор с высшим образованием был стар и сед. Седина на коротко остриженной голове отсвечивала тускло-зеленоватым светом, будто волосы подернулись плесенью. За десять лет пребывания в лагере, чудом выживший, заключенный сумел сохранить трезвый ум и любознательность. К концу дня он знал о Серееже и Витьке все. А когда на вечернем построении бандит по кличке Мarmелад закри-

чал на Виктора, по ошибке ставшего на его место, Генрих только крикнул — и Мармелад умолк. Вагнера знали, уважали и боялись. Оставшийся в живых один из первой сотни, никогда не занимавший поста даже бригадира, он был уважаем и охраной. Слава о его громких делах еще не умерла, и частенько высокопоставленные чины при посещении лагеря приходили посмотреть на знаменитого взломщика, как на редкостного зверя в зоопарке. В такие дни Генрих был угрюм и молчалив, а иногда ругался:

— На воле я мог бы их всех купить оптом и в розницу, а здесь они мне как великую милость окурки бросают. Не дают, а бросают, свиньи.

Его воспоминания были интересны, как приключенческие романы. Где правда, где вранье, разобраться было невозможно. Взрослые только качали головами, а мальчики были в восторге. Из всех политических Вагнер уважал только коммунистов. Эмилю как-то в споре он заявил:

— Социал-демократы — дерьмо. Когда вы сюсюкали на своих собраниях и заседаниях о борьбе с капитализмом, да продавали интересы рабочих, Генрих Вагнер — боролся. Боролся с капитализмом одной рукой. И эта рука наносила ему непоправимый урон.

Говорил он азартно, с запалом, и не понять было, то ли это в шутку, то ли всерьез. Кто-то смеялся, кто-то ругался, а Сережка и Витька слушали раскрыв рты. Однажды сам бригадир Эмиль Бреш не выдержал и спросил:

— Кто же ты, Генрих, анархист или?..

— Я коммунист-одиночка! — явно для потехи брякнул Вагнер. Он хотел еще что-то добавить, но люди уже смеялись и заглушили его последние слова.

Ребят он жалел и частенько баловал чем-нибудь из посылок, получаемых из дома, а иногда говорил, что после войны усыновит обоих. Дети есть дети: немного ласки, внимания, и вскоре они уже не отходили от Вагнера. Вагнер тоже полюбил мальчишек. Теперь в лагере никто не смел не только обидеть, но даже косо глянуть на ребят: уголовный мир почитал Вагнера.

Первым из уголовников, кто понял, что бороться с усиливающимся влиянием в лагере политических бесполезно, был Вагнер. Он понял это сам и дал понять другим. Команда, чистившая картошку, спасала от голодной смерти многих: с большим риском все заключенные воровали картошку и проносили в лагерь товарищам. Воровали все, даже бригадир, даже Вагнер. А обыски в последнее время стали повторяться все чаще и чаще. Что-то тревожило эсэсовцев, что-то не давало им покоя. Уличенных в краже наказывали смертью через повешение. Сережа и Витя были потрясены, когда за пару подметок был повешен молодой парень. Раньше обыскивали только при входе в лагерь. Теперь и при входе и при выходе. Пользуясь своими связями, Вагнер всегда знал, когда будут обыскивать команду, и извещал Эмиля, а тот остальных. Но в последние дни что-то нарушилось в связях Вагнера, и он предупредил:

— Ничего не брать — можно засыпаться!

Боясь за своих мальчишек, он лично обыскивал их, зная, что пощады не будет, что скидки на возраст в лагере нет. Ползли разные тревожные слухи. Заключенные на внешних работах теперь часто видели возле лагерьной стены машины с сетчатыми полукруглыми антеннами. Эти антенны шевелились, медленно поворачиваясь из стороны в сторону, словно прислушиваясь к тому, что творится за высокими лагерными стенами.

После отбоя эсэсовцы часто врываются в бараки, переворачивали все вверх дном. Однако ничего не находили.

Из общего лагеря в бункера (одиночные камеры лагерной тюрьмы) взяли многих коммунистов. Лагерь дрогнул. Поговаривали о подготовке большого этапа для всех политических, но Вагнер сказал, что это чепуха: не так просто убрать из лагеря тридцать тысяч человек — две трети всего состава. Чтобы отвлечь мальчишек от печальных мыслей, он рассказал им историю ограбления банка в городе Бреслау при его участии и закончил тем, что попробует после войны тряхнуть старинной.

— Но в Европе делать будет нечего, — предсказал он пророческим тоном. — Все зо-

лото загребут американцы. Поэтому я, Виктор и Серж едем в Америку. Генрих еще раз делает дело, — один только раз! — и нам всем хватит до конца наших дней...

Он обещал ребятам дворцы, яхты, пароходы, кругосветные путешествия и королевскую охоту на тигров в Индии.

У ребят горели глаза. Вагнер спросил:

— Согласны?

Сереза помялся и, посмотрев на Витьку, сказал:

— Нет!

— Почему? — удивился Генрих. — Бойтесь?

— Ничего мы не боимся, — ответил Серезжа. — Банк мы с тобой ограбим, но деньги на тигров тратить не будем.

— Ага, — догадался Вагнер, — потратим их на мороженое.

— Мы их потратим на пушки и пулеметы, — заявил Серезжа.

— Так войны ж не будет.

— Это в Европе не будет, — заспорил Серезжа, — а в Африке или в Индии точно будет. Сколько там негров и других угнетенных.

— Ида, — крикнул Генрих. — Вот до этого я не додумался. Сразу видно, что вы настоящие маленькие коммунисты.

— Мы пока пионеры! — поправил его Серезжа.

Вагнер любил поддразнить Сергея и поспорить с ним. Он уже подготовился к этому, но вдруг дверь в подвал с грохотом отворилась и на ступеньках появился комендант лагеря. За его спиной сгрудились офицеры и солдаты.

— Внимание! Смирно! — крикнул охранник и, шагнув вперед, отдал рапорт:

— Команда в составе пятидесяти трех человек заканчивает дневную норму. Задержались на три часа в связи с добавочным заказом!

Комендант здесь — редкий гость, если что — от него зависит: быть тебе охранником или загнать на фронт. Поэтому охранник тянулся изо всех своих силенок.

— Обыск! — скомандовал комендант. Самым тщательным образом была проверена вся нечищенная картошка в ларях, вытряхнуты

из корзин морковь, свекла, брюква. Огромный штабель капусты был переложен в другое место. Солидный офицер с умным, тонким лицом тихо пожаловался коменданту:

— Опять ошибка...

— Черт знает, чем занимаются ваши люди! — выругался комендант. — Пятый обыск, и все без толку.

— Ничего не понимаю, — признался офицер. — Данные точные. Расчет не врет.

— Так же, как не врал уже четыре раза?!

— Я лично проверил все расчеты, господин комендант. Должно быть здесь.

Комендант нахмурился, сказал спокойнее:

— Пересчитать. И обыскать еще раз.

Тщательно обыскали и пересчитали всех от бригадира до Вагнера. У некоторых нашли табак, спички, зажигалки.

— Всем по двадцать пять на задницу, — распорядился комендант и уже, было, повернулся к выходу, но остановился и щелкнул пальцами:

— Один момент. Охранник доложил, что на команде пятьдесят три заключенных. А насчитали всего пятьдесят одного. Где еще двое?

От страха у охранника подогнулись колени. В животе заурчало и отошли газы. Да так громко, что было слышно по всему подвалу. Перепуганный солдат закрыл ладошкой рот.

— Другую дырку закрывать надо! — рявкнул комендант. — Где двое заключенных?

— В... в... в туалете, — пролепетал охранник.

— Открыть!

Охранник дрожащей рукой подергал за ручку. Дверь не открывалась.

— Черт! Помогите! — крикнул комендант солдатам.

К двери туалета шагнул рослый эсэсовец и чуть не упал — ему под ноги свалился и забился в жестоком припадке Вагнер. На губах его появилась пена, глаза закатились под лоб, а руки и ноги судорожно дергались. Иногда его высохшее жилистое тело изгибалось пружиной и снова падало на пол.

Комендант шархнулся в сторону, спросил:

— Эт...то что еще такое?

Вперед выступил Эмиль Бреш:

— Господин комендант, это сорок восьмой

номер. Это самый старый заключенный лагеря. Он болен.

— Припадочных давно уже надо было отправить в крематорий! — сказал комендант. — Оттащите его в сторону и откройте дверь в туалет.

Еще в самом начале обыска Эмиль шепнул Сережке:

— Быстро в туалет, в трубу по кабелям и проводам. Там дальше — коридор. Там одноглазый. Скажи ему, что идет обыск. И вместе быстро назад в туалет.

Сережка ящерицей полз по трубе, протянув руки вперед, хватаясь за кабели и подтягиваясь на руках. Он очень спешил, но все-таки заметил, что труба и кабель чистые, словно их регулярно протирали тряпкой.

«Одноглазый ползал» — догадался он и тут же увидел впереди свет и услышал голос. Густой баритон чеканил слова:

— Внимание! Внимание! Говорит радиостанция «Свободная Германия», говорит радиостанция «Свободная Германия».

Сережка пополз быстрее, обдирая колени и локти. А навстречу несло уже громче:

— Сегодня в выпуске вы прослушаете сводки русского и английского командования. Сегодня вы узнаете о новых массовых казнях евреев в концлагерях Германии. Сегодня...

Когда от туалета оттащили корчившегося в судорогах Вагнера и солдат дернул за ручку, дверь свободно отворилась.

Придерживая штаны в проеме стоял Сережка, а на унитазе восседал одноглазый.

Солдат доложил:

— Счет по команде сошелся, господин комендант. Двое находятся здесь.

Комендант махнул рукой.

— Каков командир, такова и команда.

...Скоро все вошло в норму. Только Сережка загордился и стал важничать, ему очень хотелось похвастаться своим поступком хоть перед Виткой, но Эмиль подвел его к подвальному окну, указал на трубу крематория, из которой шел дым, и сказал тихо:

— Одно слово, и вся команда вылетит в эту трубу. Ты умный мальчик. Ты понял?

Сережка понял. Теперь он так уважительно относился к одноглазому и Эмилю, что Генрих даже начал немножечко ревновать, а Эмиль однажды шепнул:

— Держись от нас подальше, сынок. Так надо.

Это же ему сказал и Вагнер, тонко намекнув, что припадок он симулировал, что в другой раз так может и не получиться.

Сережка молчал, но в душе ужасно гордился тем, что спас одноглазого и передатчик. Тайно от всех он лазил снова в трубу, но передатчика на старом месте не оказалось, а идти дальше под землей без света он побоялся.

С Вагнером он теперь держался почти на равных, а когда тот поддразнивал его, Сережа спорил и даже ругался. А однажды сорвался и обидел старика.

Совершенно случайно Витя, подносивший картофель, поскользнулся и тяжелым ведром задел больную руку Генриха. Удар пришелся по локтю, и боль была так сильна, что Вагнер на миг потерял сознание. Очнувшись, он сгоряча шлепнул мальчишку по задку и тут же пожалел.

Не зная, в чем дело, Сережка подскочил к Вагнеру.

— Ты за что его бьешь?!

Боль в руке еще не прошла, и Вагнер огрызнулся:

— За дело...

— Как ты смеешь?! Нету такого права! И я ...я тебе запрещаю.

Морщась от боли, Вагнер рывкнул:

— Да ты кто такой — запрещать мне?!

— Я? Политик! — и Сережка показал на свой красный треугольник.

Ошарашенный таким напором, Генрих сначала молчал, а потом смахнул слезинку, коснулся логонько Сережиной головы и сказал растроганно:

— Моя школа! Никому не уступит!



Валерий Ковшов

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА

ПОЭМА

I

У тишины хмельная голова —
вино черемух льется в ночь бурливо.
Мой друг, забудем резкие слова,
с которых речь ты начал торопливо.
На перекрестках жизненных дорог
еще немало нам дано увидеть.
Так будем крепче мелочных тревог,
сильней и выше самой злой обиды.
Посмотрим в мир с небесной высоты:
Простор. Полет. Движенья без причала...
Не зря на поле выросли цветы,
не зря кукушка в сумерках кричала,
не зря закат свалился в поймы рек
и тишина легла на наши веки —
все для того, чтоб понял человек:
слились движенья мира в человеке!

II

Лишь оглянись — увидишь за собой
глаза июня с темными зрачками,
и дальше, дальше... воздух голубой
пьет тишина тяжелыми глотками.
Все дышит жаждой солнца и воды,
все ищет далей, воздухом богатых,
чтобы оставить яркие следы
на память дней, утопленных в закатах.

А я раздвину темные кусты.
А ты придешь к проселочной дороге.
И месяц вспашет черные пласты
нависших туч своим упрямым рогом.
А кто-то ляжет в душную кровать
и встретит полночь розовыми снами,
все перепутав, станет называть
свою жену чужими именами.
А мы уйдем в июнь, в его простор —
там бродит тайна юности и воли,
там подпевает леса стройный хор
нестройным песням утреннего поля.

Любимая! Легка твоя рука,
а волосы темней осенней ночи.
И кружится вокруг тебя строка,
как будто бы обнять словами хочет.
Я вижу тот, забрызганный водой,
весь в тальнике и диких травах берег.
Мы наравне с вечернею звездой,
а рядом с нами поля тихий вереск.
А мир поет на тысячи ладов.
Но и душа не требует печали.
И не оставит призрачных следов
моя рука за теплыми плечами...
Вот почему для нас в кольце чудес
простая ночь, как чудо, все возможней.
Вот почему растет душа, как лес,
а тишина покоя все ничтожней...

III

Июнь гордец и очень знаменит,
в природе нет величественней славы:
в цветных венках, разбойный и кудрявый,
в руках росы серебряная нить.
В его глазах не дремлет тишина
спокойной веткой, птицей осторожной —
как первый гром взрывается она,
мир оглушая песней придорожной.
Да, я люблю июнь, и не таю
свою любовь, и радостно приемлю
его пути, и вслед ему пою,
и славлю сердцем родину и землю.
Здесь я рожден. Деревня, как судьба,
как сладкий вздох простора и свободы.
Здесь даже ставен четкая резьба
напоминает прожитые годы...

Я вспоминаю: где, когда и что
стояло здесь, цвело, не умирая,
соединяя прошлое с мечтой,—
с преображенным днем родного края.
Вот там был лес.
В лесу росли цветы.
В сухом логу водились куропатки.
И грозный ястреб с гулкой высоты,
нацелив взгляд, пикировал в распадки.
Я думал раньше: лес, поднявшись в рост,
озолотит пшеницей жизни поле
и, перекинув к будущему мост,
напомнит нам о славной сельской воле.
Увы — не лес, а грязная трава
шоссейный путь украсила уныло.
Сообразила ж чья-то голова,
но свою мысль с природой не сроднила...
А чуть правей лежит тележный путь,
размеры леса выверивший строго.
Шоссе б чуть-чуть,
совсем чуть-чуть свернуть,—
и лес живым стоял бы вдоль дороги.

Зеленый, желтый, ветрено-пустой,
он дорог мне, любимец нашей боли,
простой надеждой, истиной простой —
как продолжение юности и воли.
В его ветвях листвы шумливый рой,
в его траве настой и крепость браги,
в его корнях весеннею порой
таится сила жизненной отваги.
Достойный друг распаханых полей!
Замрут они без дружеской защиты:
палящий зной и пыльный суховея
сильны пока и горько знамениты.
Он дорог мне за радость первых встреч
с природой, с тайной, с девушкой любимой.
Его живая песенная речь
не пропадет во тьме с осенним дымом.

IV

Проснулся дым в затопленной печи,
по стеклам скачут желтые зайчата.
Моей деревне день уже вручил
пакет июня с солнечной печатью.
Встряхнув от лени сонный палисад,
орет петух, куриный предводитель,

и стайку белых юрких поросят
спешит кормить угрюмый мой родитель.
Вот наш сосед, веселый говорун,
с отцом заводит речь о сенокосе.
А в небе, срезав облачный бурун,
на юг летят железные стрекозы.
А солнце выше ...жарким будет день.
Над чистой березовых раздолий
не пронесется облачная тень,
пугая птиц с насиженных гнездовий.
Пришел июнь — окончилась пора
неторопливо-умного посева.
С последним кругом глохнут трактора
и копят мощь до высохшего сена.

Мы дышим тем, чем родина живет:
ее заботы в сердце оседают,
ее печали мучают и давят,
ее веселье к радости зовет.
И, как награда, пышно расцвела
сирень, скрывая окна и заборы.
День борозды!
Счастливый день села
с улыбкой, с песней, с шумным разговором.
...И вот завелся дед про старину:
перемежая праздники и будни,
косили хлеб, кормили всю страну
и отдыхали тоже как все люди.
Припомнит он войну и недород.
И оживут невиданные беды,
и обрастет легендами народ,
знававший горечь, славу и победы.
И вдруг поймешь, что этот первый шаг,
с которым мир рванулся к высшей цели,
ступили мы, подняв надежды стяг,
пусть тяжело, но прямо, как сумели.
Поймешь и то, что, может быть, тебе
еще немало выпадет печали,
покуда в нашей жизни и судьбе
колокола тревог не замолчали...

V

Густой, тягучий, медленный закат
стекает с крыш, ползет к вершинам леса,
Крадется тень от темного навеса.

Азартно плещет щучий перекал.
Уже примерил новый пиджачок
веселый парень, глядя в темень сада.
Уже стучит высокий каблучок
там, где пристыла к сумеркам ограда.
У клуба говор, смех, и звон гитар,
и одинокий всхлипный плач гармони...
Вдыхай, вдыхай сиреневый нектар,
прижав к губам горячие ладони!
Вдыхай из тьмы любимый этот цвет
родных берез с короной голубою.
Пусть всегда витает над тобою
неистребимый звонкий их привет!
И вот он, вечер... зеленью повис,
и синевой обрушился на плечи.
Как в храме, звезд мерцающие свечи
зажгла во тьме таинственная высь.

Уснуло лето тихо на руке,
застыв в глазах малиновым закатом,
парящей мглой над лунным перекалом,
зеленой рыбой в стынущей реке.
О, сказка лета!
Разве я не знал,
что ты живешь на родине извечно...
Вон белый конь звенит вдали уздечкой.
Вот звезд ночных сиреневый обвал.
Вот свет берез у темного пруда
и тишина над дремью тальниковой.
Вот из ладоней чистая вода
сжимает грудь прохладой родниковой.
Родник пробьется — воздух зазвенит.
Душа услышит — песня разольется,
и чувств моих невидимая нить
к чужой душе невольно прикоснется.

д. КРАСНЫЙ КЛЮЧ,
Крапивинский район



Екатерина Дубро

ТРЕФИ-КОЗЫРИ

РАССКАЗ

Все то, что произошло, произошло абсолютно непредвиденно: ни накануне, ни поутру Григорий Ивочкин ничего ТАКОГО в себе, кажется, не содержал и не помышлял о таком.

«Кажется» — потому что, ежели произошло это, оно, стало быть, в чем-то да уже содержалось?

Испугался Григорий Ивочкин, то бишь попросту Гриха, как называли его кореш и к какому имени он сам привык: сам себе Грихой был.

Испугался, потому что получалось нехорошо, и даже очень: опасно получалось.

И Грихины нервы, еще мгновения назад расслабленные в отдыхе, в эти же мгновения напряглись, как давным-давно застоявшиеся кони, что почуяли вдруг позабыто-знакомое натяжение постромок.

И в эти же мгновения они — взбодренные Грихины нервы — уже не конями, а на иных скоростях рванулись ко всем аварийным «стоп-сигналам» своих сторожевых служб. Потому как реакция этой девчонки стала второй непредвиденностью — вслед за первой, то есть за его самого поступком, о кото-

ром Гриха, кажется, и не помышлял. Он ведь просто прогуляться пошел по свежему снегу.

Да, еще каких-нибудь полчаса назад он — выспался, чисто выбрит — сидел в полупустой столовой и обстоятельно, с аппетитом завтракал у окна.

За капроновой разноцветно-веселенькой шторинкой стояло холодное, но белоснежное октябрьское утро. Нынче снег впервые выпал столь количественно, по настоящему, а до того лишь летали на ветру случайные снежинки, не набрать и горсти.

И когда Гриха завтракал, глаза в столовское окно на редких — самое рабочее время — прохожих, набухшее небо неторопливо присыпало еще крупного и густого снега. Добавочно. Словно скатерть свежую постелило: прошу, дескать, за стол, люди, к моей белизне.

Гриха это предложение принял.

Он брел нецеленаправленно по тротуару и дышал сырým запахом снега.

Собственно, можно было и целенаправленно двигаться: вернуться к Степе, покидать в свой портфель оставшиеся там кое-какие — галстук, бритву и тэ дэ — вещички, чиркнуть записку:

мол, наше вам с кисточкой, спасибо за хлеб-соль, да и на вокзал. Делать тут больше нечего — он понял сразу, три дня тому как приехал.

Степа принял радушно, но сдержанно, никаких шуток относительно своей положительной семейной жизни не подержал и совсем уж возразил против Грихиных, дружка своего давнишнего, воспоминаний о прежних тех временах, когда нары рядом, а потом сюда, на стройку народного хозяйства.

«Чего ворошить!» — сразу пресек Степа. Как отрубил. А выпивали всего раз, за встречу только, и то весьма умеренно. В общем, сами напились, и еще милиционеру на свисток осталось. Ну, и лады.

Только хотелось Грихе напоследок все же пошутковать поостроумнее: например, закинуть куда-нибудь в снежок ключ от Степиной хаты. Нет, — надо же, а! — оставь, говорит, если пойдешь куда, ключ под ковриком на лестнице. На той лестнице, где десятки чужих ног протопчут! А где ноги, там и руки. Ай да Степа. Шизует Степа. Как мило — коврик! Ну, прямой детский сад.

Этой мыслью и занят был Гриха.

Но из столовой он все же не направился сразу этот свой план выполнять, а прогуливался по маршруту, который выбрали его вольные ноги, куда повело само по себе. Потому что нужно еще было решить, а не остаться ли до вечера. У Вальки диспетчерская смена кончается в семь, уезжать же при таких с нею неясных — то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет — отношениях ему не слишком хотелось. Так, на всякий случай. Хотя уже понимал, что Валька, прежняя его маруха, тоже не такая, какой была. Письма, правда, писала ему, но лишь в первые годы, потому приехал сейчас Гриха к Степе, у него остановился, а к Вальке только наведася.

Замуж она не вышла. Точнее, выхо-

дила, да разошлась и жила одна, в собственной однокомнатной квартире, при полной мебелировке и даже с телефоном. Грихе лишь там, у Вальки, почувствовалось особенно, как много это — семь лет, сколь многое меняется вокруг за такой срок.

Перейти от Степы к ней Валька его не пригласила. «В гастролерах не нуждаюсь», — сказала. Однако ключ от квартиры, хоть поколебалась, а дала вчера: Гриха горячо возжелал починить Валькин сломанный магнитофон. На прощание, так сказать. На добрую память. Починит и отбудет восвояси, даже не увидятся, может. «Если не увидимся, ключ оставь у соседки», — накаркала.

И вот обладал он сегодня ажно двумя ключами сразу: один в кармане, другой под ковриком.

Нет, на плохое отношение старых приятелей жаловаться было бы грешно, и Гриха это оценил. Хотя, признаться, ожидал большего. К себе-то вовнутрь они его вроде как не допустили, вроде как чужой им. И это, конечно, настраивало Гриху несколько неприязненно, исподволь вынуждая выискивать, к чему бы придраться, в чем углядеть их слабинку, что уравнило бы их с ним в собственном его ощущении. Он даже пожалел уже, что приехал сюда. Он и не знал толком, зачем приехал. Ничем приятным — разве что тогдашняя Валька — город этот не вспоминался, пропади он вовсе.

Наверное, просто покататься захотелось, ощутить поглубже вольным себя человеком, на скоростях. Пока шевелились в кармане семилетние бумажки, на работу, опостылевшую во как, Гриха, разумеется, не рвался. Он даже и думать о ней пока не стал, даже материны намеки о том игнорировал. И не привык еще к тому, что можно было все это делать: не думать, игнорировать — и поехать куда угодно, прогуляться вот по снежку в какую хочешь

сторону, покачивая пустым портфелем (а для солидности, да), ощущая вольное свое тело в удобной новой одежде, печатая подошвами новых корочек — мадэ ин не наше, польские, по тридцать пять — свои не запланированные маршрутом распорядка следы.

И вообще, идет сейчас весь такой легкий и положительный — внешне, и внутренне, и мысленно. Он и сам себе как бы в новинку стал, как бы присматривался — и осмотром тем был доволен весьма, а все встречные витрины подтверждали зрительно это новое его самоощущение.

И конечно, как тут не вспомнить еще и еще раз Алика Мерседеса (кличка роскошная, хотя и непонятная малость). Два года вдалбливал, что современность требует иных норм поведения, что давным-давно морально устарели, а потому нелепы и смешны такие парни — феня да мат, да больше ничего, сплошной примитив. За версту видно, что за тип, а именно: социально опасный тип. В наше просвещенное время даже урка не должен отличаться от основной массы населения. Хотя бы внешне.

Мерседес, «местный» философ, не зря носил очки — книжек прочитывал уйму, просадил на них глаза. Зато в любой конфликтной ситуации можно к нему обратиться за разъяснением: как держаться, что сказать администрации, на что сослаться, — Мерседес всегда готов был снабдить соответствующими цитатами и собственными комментариями.

А зимой ему прислали новенькую книгу одного французского философа по фамилии... ну, как там его? Нет, забыл. Черт с ней, с фамилией. Так вот, философ этот открыл Мерседесу — а тот Грихе и всем, кто интересовался, — весьма-а любопытные вещи.

Оказывается, что? Преступления в основном произвольны, да. Просто выпало несчастье иным людям родиться с такой склонностью, ибо организм

их так устроен, с отклонениями. Тот философ, наверное, знал, что утверждал, так как сам врач, и, как объяснил Мерседес по вступлению к книге, врач для своего восемнадцатого века знающий. И вот он уверяет, что в судах не судьи должны заседать, но тоже знающие врачи, лишь они могут правильно определить, насколько виновны сами преступники, а насколько их биологическая организация. Увы, таких врачей нет и поныне, разве что насчет психу.

Мерседес объяснял доходчиво, популярно.

С одной стороны, Гриху вполне устраивало такое положение вещей, получалось, как бы ни за что страдания: ведь против природы не попрешь, а в прокуратурах вон и за двести лет не научились это учитывать. Обидно.

Но, с другой стороны, получалось обратное: горбатого лишь могила исправит, да и то — горбом могила-то. Все остальные, стало быть, люди как люди, делают или не делают что хотят, по своей воле, а тут вроде как и не по своей воле он шел «на дело», жил рискованной жизнью и наслаждался тем риском — все это, оказывается, уже было запланировано в крови? Обидно тоже. Покумекать бы самому.

Но учиться, спасибо Мерседесу, Грихе понравилось, окончил в колонии седьмой, восьмой классы и неделю походил в девятый. Современность неучей не признавала! И особенно там, при больших сроках, необходимы каждодневные умственные усилия, чтобы не одичать слишком-то, чтобы, выйдя на волю, не сушили, образно говоря, портянки на телевизоре — телевизор, надо знать, для другого предназначен.

Сильно уважал Гриха своего барачного учителя. Хотя, если по правде, так и не понял все же позицию в главном: то ли можно преступать, то ли не надо? Впрочем, Грихе обратно, в кавалеры ордена «Колучей проволоки», сов-

сем не хотелось. Семь лет сидел, теперь сам едва не сушит на телевизоре портянки.

Вот такое общее настроение и такие мысли предшествовали дальнейшему событию, и все это, вмиг спрессованное, вторично промелькнуло потом в сознании очень четко. Да еще одно ярко вспыхнуло: дурак, знал же, что не к добру вчерашние трефи,— нечего было и начинать сейчас!

Накануне вечером играли со Степой в карты, а Гриха всегда загадывал на козырные масти, трэфовая масть всегда несла ему проигрыш. И сутки после отличались чем-нибудь неприятным. В этом Гриха был суверен. А тут вот позабыл.

Внешне-то все выглядело — по сравнению с внутренним его аварийным переполохом — обычно и даже медленнее: словно бы заснятое рапидом на киноплёнку.

Девчонку в песцовой шапке Гриха заметил сначала просто так — шла впереди, и ничего больше.

Забрел он, оказывается, в глухое место, и шли они вдоль длиннющего кирпичного забора, за которым дымились высокими железными трубами производственные здания, какая-то, должно быть, фабрика. А по другую сторону, через шоссе, тянулся, тоже в огородке, безлюдный рынок, выходной там день, понедельник.

Навстречу просеменила старушка с кошелкой, потом обогнал мужчина и маячил уже у дальнего конца забора.

Девчонка обута была в высокие сапожки, одета в демисезонное бежевое пальто и вот — в песцовую шапку, с ушами. Отметил он сей мех чисто по ассоциации — Валька на днях купила себе зимнее пальто с таким воротником и, между прочим, сокрушалась, что нету шапки, меха теперь в остром дефиците.

Валька любит круглые шапки, и если, допустим, от такой, как эта, на дев-

чонке, отрезать уши и нашить их вкруговую, как у боярыни Морозовой... То была уже новая ассоциация от ассоциации предыдущей.

А дальше — вот: Вальку заверить, что купил на базаре. Вчера. Может, потеплеет. Да хоть бы и нет, все равно шикарно — попрохаться таким жестом.

Ассоциации эти промыслились как бы между прочим, скользнули по обочинке сознания, а само оно все еще занималось вспомнившимся Мерседесом. Чувств же и вовсе все это не коснулось, ничем они не воспрепятствовали Грихе, даже напротив — нечаянный холодок острого любопытства был приятен.

Тут-то и дрогнули застоявшиеся кони.

Гриха поднял воротник. Оглянулся — никого. А рука сама уже отстегивала ремешок пустого портфеля. А остановившееся — ах, эти кони перед прыжком! — сознание оцепенело, и лишь та его обочинка обернулась тупичком: либо назад, либо перепрыгнуть. Дело решалось мгновением. Всего пара шагов.

А рука, самостоятельно-ловкая, вот уже закидывала на ходу ремень, и мельком увиденное девчонкино недоуменное лицо, точнее — ее голубушие, яркие глаза уже остались позади.

«Что ли, опять?!» — ожгло. Не поверил и поверил — все сразу.

Ноги несли его вдоль забора. Сейчас конец и поворот. Ноги вынесут. Только не бежать.

Бежать не надо.

И не оглядываться.

Он никогда не оглядывался. Тогда, семь лет назад. Но тогда кричали вслед. Всегда кричали. А сейчас — нет. Почему сейчас тихо?

Он оглянулся — и совсем близко увидел розовое пятно прыгающего лица: девчонка догоняла!

Гриха надал скорости.

Побежал тоже.

Добежать до поворота.

Но почему не кричит?

Оглянулся. Поотстала, но бежит. Рыжие волосы, почти медного цвета — как ярко. На белом. Ярко слишком.

Впереди по-прежнему никого. Но создающую-то лишнюю фигуру зрение зацепило.

Больше не оглядываться.

Гриху вынесло за угол кирпичного забора — и сразу чуть не сшиб кого-то. Мужик. Туда, навстречу рыжей. Сейчас закричит, укажет на него, побегут вместе догонять.

Не оглядываться.

Гриха шагал крупно, не чувствуя ни ног, ни веса, ни скорости.

И вдруг увидел торчащее шапкино ухо из портфеля! Но и — отрядную пустынность переулка. Только — окна. По ту сторону. По эту — пока еще забор.

Окна. Об этом не думать. Окон нет. Он спешит. Просто спешит по делу. Он опаздывает. Вон туда, меж домами.

Ах да, торчит. Запихнуть, запихнуть. Ничего нет. И никого.

Звук. Что за звук? Дышит. Он сам, что ли? Или... Неужели все еще бежит?

Ага, подала голос.

— Стойте!

Не оглядываться. Ничего не знаю. Что уж теперь, коли так получилось. Кто же мог предвидеть.

Тяжелое дыхание совсем близко.

Возле того дома, за который намеревался свернуть, показались двое. И вон там еще. Надо было раньше сворачивать. И окна. Всё, в тумане скрылась милая Одесса.

Аварийные «стоп-сигналы» сработали наконец, и взорванное сознание опалило страхом.

Он остановился и, не оборачиваясь, раскрыл портфель. Руки проплясывали. Девчонка стояла рядом.

— Извини, пошутил, — и он попробовал улыбнуться. Кажется, не получилось.

Ох, глазищи. Красное и мокрое, распаренное лицо, дрожащие губы.

— Возьми. Молодец.

Похвалил бодро и сдержанно.

Взяла.

Те двое приближались.

— Надевай же! — закричал.

Надела. Ой, сейчас плакать будет.

— Пошутил, — повторил он торопливо. — Извини.

И пошел крупным шагом прочь. Чувствуя большое облегчение. Огромное. Кретин: в том же самом городе, тем же самым делом!.. Немедленно на вокзал. Черт с ней, с бритвой. Степке на память. А ключ под ковриком.

Вот он, этот дом. Совсем ведь рядышком! Поворот. Все, окна уже другие. Все? Да что и видно? Ничего: снег опять падает. Снег, оказывается, падает опять.

Он идет по кварталу. Потом выходит на какую-то улицу. Ага, Ленинградская. Старая улица, он ее помнит. Потом свернет на Строительную, заскочит к Валькиной соседке отдать ключ, а автобусная остановка там возле. Автобус номер шесть, вокзальный.

Он вздохнул, и это получилось у него судорожно, почти со всхлипом.

Переходя шоссе, он огляделся, как тут насчет авто, — и увидел: рыжая та девчонка следом движется! Всю дорожку, оказывается, идет следом! Почти что рядышком!

Шоссе — перемахнул.

То же самое сделала и она.

Он понял, что нужно или убегать, или объясняться.

Теперь она, действительно, шла рядом.

Давешний испуг жаром исколол ладони, сразу взмокли.

— У меня разряд, — задышило сказала девчонка. — По бегу. Нам надо поговорить.

Чокнутая, что ли? Грихины кони перешли на рысь. Ну и что? Она побежала. Не отставала она. И впрямь прытко бегают.

Но это не дело — кругом люди, при-

чем не слишком много, чтобы затеряться, а в самый раз столько, чтобы отметить столь странную парочку.

И тут Грихины кони споткнулись и, сдерживая скок, взбили копытами землю — на перекрестке впереди, посыпавший снегом, укрепился постовой милиционер.

А может, эта кретинка только затем и преследует — до первого милиционера? Да боже мой, ей даже свидетелей не понадобится, когда расскажет, что было, а они узнают, за что отбывал срок! Еще, может, и старенькое есть, вспомнят его. А тогда все, Гриха, тогда точно уж в тумане скрылась милая Одесса.

Он отшагнул к зданию, привалился к стене боком и стал доставать сигареты. Что ж, отступали, как говорится, в полном порядке, собранно и без паники — однако все равно не успели. Бывает.

Рядом, как паровоз, пыхла разрядница по бегу, совсем распластавшись по стене. Но у Грихи даже возненавидеть ее не достало времени — сознание его металось, а чего придумать во извращение свое, не знало. Слишком короткий день.

— Нам надо поговорить, — опять услышал.

Даже не взглянул в ее сторону. Сигареты в кармане застряли, пришлось бросить портфель к ногам и стаскивать перчатки.

— А других предложений у тебя нет? — спросил.

— Есть.

— Какие же?

— Не бежать. Все равно не отстану.

— Зачем? Я же сказал: пошутил! Ну, глупо пошутил, ну, виноват, признаю. Но я же отдал тебе!

— Нет, — покачала головой. — Не так.

Теперь Гриха смотрел на нее в упор. И теперь отношения его к ней потихоньку определялись. Ух, отоварить бы по...

Но глотал дымные затяжки и вел дипломатические тары-бары!

— Нам надо поговорить, потому что я не понимаю, зачем вы сделали это.

Отоварить. Оприходовать. Вполне обычные, Мерседес, слова. Давить котлы.

— Ты знаешь, что это такое — давить котлы? — спросил он.

— Нет.

— Так вот, я хочу сейчас этого. И не могу. Поняла?

— Нет.

— Жаль. А то бы сама удрапала подальше.

— Побить меня хочется? — догадалась.

— Я этого не сказал, — на всякий случай отказался он.

— Да, — кивнула она.

Гриху осенила идея — попробовать, что ли, закадрить ее? Ну, сделать вид, что кадрит. Небось, непривычна к такому — вон какая невзрачная, не лицо, а сплошные веснушки. Урождает же мать-природа.

— Ладно, — сказал, — слушай. Ты не веришь, а я ведь не соврал, что пошутил. Да, пошутил глупо, да. Но зачем? Ты мне понравилась, поняла? Еще раньше. Я ведь тебя раньше видел. В кино. И положил глаз на тебя, поняла? А тут иду — и ты. Если бы не так, разве я не удрал бы? Смешно.

Он ее почти что уговаривал, укачивая почти что ласковыми по тону словами!

— Вот так, — сигаретный окурочек решительно брошен и втоптан в рыхлый снег. — А теперь говори, где живешь, и я тебя провожу. Вечером мы встретимся, правда? — и Гриха поднял портфель и энергично встряхнулся.

— Нет, — покачала она головой. — Не так все было.

— А как?

— Не знаю. Было гораздо хуже.

— Допустим, — терпеливо согласился

он.— Но что меняется? Вещь твою я вернул. Это плюс?

— Плюс. Вот и поговорим. Хочу спросить, почему...

— Согласен. Но только вечером. А сейчас провожу тебя домой. Сейчас я очень спешу.

— Нет.

— Что нет?

— Не очень спешите, иначе бы не остановились. И провожать бы не предложили.

— Резонно,— опять согласился.

Такую тактику, соглашательскую, подсказала ему интуиция, и он ей доверился. Он, надо признаться, уже устал. И даже продрог, постояв в «мадэ ин не наше» по тридцать пять дубов, то бишь рублей, как непременно поправил бы его интеллигентный Алик Мерседес.

— Холодрыга,— поежился Гриха.— А как тебе?

— Тоже,— ответила.— Немножко.

— Вот видишь. А ты куда шла-то? Не опоздаешь?

— Домой. Папин костюм в химичку относил.

— И больше никуда тебе не надо?

— Надо будет, вечером. В институт.

— А днем?

— У меня ученический сегодня, не работаю.

— Сколько же тебе лет?

— Двадцать один.

Гриха присвистнул: не совсем и девчонка.

— Замужем?

— Нет. А теперь вопросы задавать буду я, хорошо? С меня начали, вами продолжим.

Ишь ты, какая пряткая!

Снегопад кончился, и задул ветер. Совсем холодрыга. Грихино терпение подтачивалось.

— Знаешь что?— грубо сказал он.— Я полтора месяца назад освободился, сушил весла семь лет, усекла? За гра-

беж. В колонии строгого режима. Вторая, между прочим, судимость. А первая за...— и Гриха хмыкнул намекающе нехорошо.— Поэтому валяй-ка ты, цыпа задунайская, подбру-поздорову. Как говорится, крути педали, пока пошее не дали.

Она слушала его, вытаращив круглые голубушие глаза. Не ожидала такого. Ему даже забавно стало от ее видочка.

— Ну, расхотелось беседовать?

— Тем более тогда,— пролепетала.

— Что тем более?— засмеялся.

— Поговорить надо. Вы,— лепетала,— не ответили мне, зачем сделали это.

— А может, к милиционеру подойдет? Вон к тому.

Молчит.

А вдруг, правда, с перепугу побежит к блюстителю порядка? Она не догадалась, так сам, спасибо, подсказал! Да еще занесло с откровением, хотел на испуг взять, что ли?

— Пошли,— сказал.

— Куда?

— Разговаривать.

Он думал, что не пойдет. Испугается. Опять на испуг брал.

Ну, пошли. А действительно, куда? Маячить по улицам ему вовсе теперь нет желательности. К тому же замерз. А с девчонкой кончать пора, но кончать, само собой, по-тихому: наболтал много. А по-тихому как? Только удовлетворив ее ненормальное любопытство.

Впрочем, и самого уже удивление разобрало, оторопь даже— сроду таких пострадавших не встречал: лезет и баста. Зачем ей надо? И кто тут пострадавший, уже вопрос.

Идут.

— Можно к нам,— предложила она.— На улице какие ж разговоры.

— Мерси, мадам!— Гриха, повернувшись, трижды на ходу мелко кланяется.— Нашла дурака. Если уж идти, то по моему адресу. Не дрейфишь?

Молчит.

А Валькин ключ в кармане, и квартира близко, по направлению к ней шагают. Неправда, отвяжется, когда дойдут. Сдрейфит.

— Так, говоришь, не бойся?

Молчит.

Свернули с Ленинградской на Строительную. На углу приткнулся цветочный киоск, и Гриха попридержал себя — очень уж яркое пятно.

— Люблю цветы, — пояснил.

— Я тоже, — ответила.

— Дальше, что ли? — недоверчиво спросил Гриха, измотанный ее упорством и абсолютной неясностью своего положения.

Вошли в подъезд. Гриха уже утратил, кажется, всякую способность соображать здраво и только у самой Валькиной двери допетрил: а ведь это — адрес, по Вальке на него запросто выйдут, если девчонка пожалуется! Фиг ее знает, что это за девчонка. Вроде нормальная, вроде нет, на второе больше смахивает.

Но и так уже есть адрес — вот он, и дверь с номером, ключ вынутый. А шутки она не понимает. Увы! И не поверит, что снова пошутит, если дать отступного.

— Но это не моя квартира, — сказал. — Я вообще не в этом городе живу. Приезжий.

Она заволновалась.

— Как? А ключ?

Ага, подумала, что и ключ краденый.

— Вот, вот, — поддержал он ее сомнения. — Соучастия не, опасаясь?

Все, отступила к перилам. Не знает, бедолага, как дальше-то быть.

А он снова, и снова с опозданием, подумал, что перегнул лишку: уж теперь, точно, по ее мнению, весь в улицах, хватайте его, люди добрые, пока не поздно. И что окончательно запутался сам, тоже подумал. Это его огорчило вконец и доконало: давненько не ока-

зывался в столь нелепой ситуации и столь мелким в собственных глазах.

— Наврал, — буркнул Гриха и сунул ключ в замочную скважину. — Квартира, правда, не моя, но ключ мне дали, чтобы починил магнитофон.

Она уже не верила, но колебалась, только теперь, видно, сообразив, как далеконько зашла в своей любознательности. Так что тем самым маленечко все ж таки вознаградила Гриху.

— Не бойсь, — великодушно успокоил, подмигнув, и этим подмигом, кажется, вовсе лишил ее прежней душевной твердости.

Неизвестно, чем бы все кончилось, но наверху стукнула дверь и кто-то уже спускался. Видеть здесь их вместе совсем не обязательно никому. Девчонка, схваченная за руку и буквально вдернутая в Валькин коридор, только пискнуть успела.

— Я закричу! — прошептала, отскочив в дверной угол.

— Не надо, — отговорил Гриха. — Мне с тобой отношения портить невыгодно.

И стал раздеваться.

— А ты? — спросил.

Она отказливо замотала головой, не спуская с него витаращенных глаз.

— Как хочешь, — разрешил. — Только давай поскорее, ты надоела мне аж до не могу. Во как, — и полоснул себя ладонью по горлу.

Он глянул на свои часы — оказывается, со времени его завтрака прошло всего-навсего минут сорок. Он сильно удивился — время протянулось несравнимо дольше: часа на два, на три.

— Проходи, — распахнул Гриха дверь в комнату.

Опять замотала головой.

— Ну-ну, — и пошел в кухню попить. Пусть охолонет малость.

Он слышал, как сразу она заскреблась у замка, как, наконец, одолела его и открыла. Дверь тихо защелкнулась. Все, сбежала рыжая. Понеслась душа

в рай, а ноги в милицию. Тыфу, черт-те какие присказки лезут в голову, напичкан чем попадя. Ладно, авось не понесется в милицию.

Гриха попил из-под крана и решил, прежде чем заняться магнитофоном, соснуть, такой вдруг вялый сделался. Ну, конечно, — пойти и «придавить михея» минут на двести.

Насвистывая, вышел из кухни и как споткнулся — девчонка сидела в коридоре, поближе к двери, на стуле от телефонного столика, задвинув ноги под сиденье, а злополучную песцовую шапку держала на коленях. Обосновалась, мать ее за ножку!

— Тэкс, — процедил. — Так чего тебе, я никак не усеку?

— Хочу понять, зачем... молодые мужчины снимают шапки с... незнакомых женщин и уносят их в портфеле.

Сказала тихо, медленно, явно с отчаянья.

— Зачем! — гоготнул Гриха. — И как, значит, докатился до такой жизни? Ну, начнем с самого начала, — бодрился он, зашагав по коридору. — Итак, родился я в студеную зимнюю пору, в ночь на первое января пятидесятого года. В середине века, значит, — и заблажил: — Я, Вигир Бутылек, был трижды застуженный артист без публики, трижды награжденный педалью по голове. Такова моя биография.

Нет, не получилось. Даже самому не понравилось. И уже посерьезнее, не сбавляя, впрочем, пляшущей дикторской интонации, продолжал по правде:

— Отец, мать, три — со мною вместе — брата и самая младшая сестренка. Один брат тоже сидит, пошел по моим стопам, и, думаю, не он последний в нашей семье.

— Почему? — спросила девчонка.

— Мм, — якобы задумался, потом ответил гладко: — Нет, со стороны родителей должного внимания, а дружки в этом деле играют большую роль.

Но дальше, забыв о дикторской ин-

тонации, заговорил совсем обычным голосом:

— Я первый срок отбывал пацаном, в колонии считался примерным осужденным. Но что на деле? Я там столько наслушался от... «сослуживцев» о разгульной, шикарной жизни на воле, о грабежах, о риске, что самому захотелось попробовать. Вот что значит дружки.

— И что, вышли из колонии — и сразу?..

— Нет, сразу я женился. В этом городе, кстати. Жена была хорошая, но не чутка к моим склонностям к прошлому, — Гриха опять завывагивал, строя на ходу свои фразы, входя уже во вкус. — Вернее, — поправился, — нечутко отнеслась к новому шагу в преступность. Мало меня знала. Я стал грабить.

— Как? — прошелестело от двери.

Он остановился. Она ему мешала. Мешала строить устное сочинение. Хотя, как ни странно, уже и привык к ней. Как, например, привыкают к насморку: ничего не поделаешь, но — пройдет, конечно, только подожди.

Он полез во внутренний карман своего новенького — тоже маде ин не наше — пиджака, вынул бумажник, а из бумажника фотокарточку. Протянул рыжей. Она взяла за уголок, взглянула — и, на Гриху тоже взглянув мельком, вернула фото.

— Хорошенькая у вас жена.

— Была.

— То есть?

— Вышла замуж, когда я сел по второму сроку. И уехала отсюда.

На фотоснимке Гриха выглядел мужественно: твердый взгляд, властно-крупный подбородок. А рядом, опустив на его непреклонно согнутую в локте руку свою, легкую и тонкую, стояла в свадебном платье большеглазая девушка, нет — девочка, доверчивая и немного испуганная.

И тут Гриха рассердился за свою слабость, за то, что фотку вынул, и вообще за все остальные нелепости. Стал, сунул руки в карманы брюк и рассказал, наслаждаясь растерянностью этой разрядницы по бегу.

— Как грабил, спрашиваешь? Очень просто: снимал шали с женщин и девушек. Абсолютно трезвый и абсолютно сознательно. Среди белого дня. Вот как с тебя сегодня. Спросишь, зачем? Навивный вопрос! Во-первых, деньги. Правда, коллеги мне попались ненадежные: один не тянет, другой не везет.

— Втроем?

Как выдохнула.

— Что? Да нет, один я, но надо же было у кого-то держать эти шали и кому-то отдавать для продажи. Так на чем я остановился? На во-первых? А во-вторых: азарт. Да, да, он самый, штука самая привлекательная! И так собою доволен делаешься, так вольно чувствуется!

На деваху жалко было смотреть. Совсем обдерет своего песка.

Гриха, довольный собою, скрылся в комнате. На диване расположился. А что ему, как на допросе, ноги мять?

Признаться, теперь-то он ожидал услышать щелк коридорного замка. Однако прошло минуты две, и в дверном проеме возникла она, эта... курочка-ряба. Прислонилась к косяку и этак подковыристо да в растяжку говорит:

— Вы любите цветы, и вместо того чтобы дарить их девушкам, снимали платки. Вы, молодой и сильный. Это, конечно, страсть как легко, мужчины-то хоть отпор давали бы, а что остается женщине? Заплакать да простудиться.

Гриха хмыкнул, не понравилось ему такое направление беседы, но промолчал. Пускай выговаривается да уматывает поскорей, уже и тут пробазарили — он глянул на свои золотые — треть часа.

— И что, совесть потом не... — она запнулась.

Видно, какими-то особыми, более точными словами хотелось говорить, а их не было, не находились. И она морщилась, страдая от своей беспомощности. Так и до самого конца: как бы с затруднением говорила. Это Гриха видел, и это его забавляло.

— Что, — поправились на запинке, — не было вам потом... беспокойно, нехорошо?

— Нет, — ответил он честно. — Понятия не имею, о чем спрашиваешь.

И улыбнулся добродушно. Он, Гриха, и в самом деле был добродушный человек, веселый и отходчивый.

— Но ты же вот не заплакала, — добавил он точности ради.

— Заплакала, только вы не видели.

— Но все равно перехитрила меня.

— Нет, вы сами знаете, что лишь благодаря исключительному случаю так кончилось.

— Еще не кончилось, — многозначительно вставил Гриха.

Опять вытаращилась, насторожилась. И Гриха, не упуская момента, взял поводья странной этой беседы в свои руки.

— Знаешь, — сказал, — я живу, глядя на других людей. Но ведь в каждом есть что-нибудь плохое. Каждый в жизни может стать мошенником, вором, грабителем. И даже убийцей. Я, между прочим, даже боялся освободиться, поняла? Я не умею жить. Я, может, как это... река в пустыне, вот, нет у нее постоянного русла.

Грихе очень понравилась своя речь, даже растрогался маленько. Но не о том собирался он говорить, а эвон куда занесли его капризные кони — снова расслабило.

Что ж, раз так, то, возможно, и к лучшему: вслух обо всем таком говорить, кажись, не приходилось еще, и все теперь оборачивалось какими-то другими сторонами, навроде как чужого кого обсуждают. Любопытно и странно.

— Вот писал я когда-то в редакцию журнала «Человек и закон», просил их подсказать мне пути исправления и становления на правильный путь. Ну, прислали ответ, да не мне, а администрации. Мол, посылаем вам письмо Ивочкина и просим помочь ему найти пути исправления. А администрация сама не тянет! Я не считаю исправлением участие в общественной жизни колонии, труд и учебу в ШРМ. Мало ли грамотных преступников на воле? Мало трудолюбивых преступников? Мало сверхнаглых уполномоченных властью и превышающих ее?

Вот, теперь все по пути, теперь направление самое верное, и фразы выстраиваются крупные.

— Верно, — согласилась девчонка. — Все это бывает.

А сама почему-то аж покраснела вся, да челка на лбу полыхает медью. В комнате-то ярко от заоконной белизны, солнце растопило снеговые тучи, сияет теперь с неба прямо к ним в окно.

— Но вы не там ищете, Ивочкин. И ведь не писали же вы в редакцию журнала «Человек и закон» раньше, не спрашивали, можно ли становиться... бандитом или лучше не надо? Самостоятельно решили.

Запнулась чуток перед «бандитом», а все ж таки перешагнула. Ну-ну. Резонно. В бутылку лезть Грихе не из-за чего.

— И вообще, кто же удержит, когда сам удержаться не хочешь? Странное дело!

Что ли, ехидничала рыжая? Ну-ну.

— Но ведь вокруг тоже люди, и всем одинаково нужна радость, одинаково не нужно горе. Какие же вам еще пути? Вот просто помнить об этом, и все. А с вас самого, наверное, еще ничего не снимали? За углом?

— Не довелось, — усмехнулся.

— Жаль. А с вашей матери? И сестренке вашей ничего не делали?

— Но-но! — одернул Гриха.

А та разволновалась.

— Конечно, злом на зло — дела не исправить, я знаю, но... Но когда человек не может почувствовать себя в состоянии другого, он еще... не человек.

Снова, значит, «перешагнула».

— А кто? — продолжал усмехаться Гриха, уже теряя поводья и верховенство.

— А кто — не знаю, — страдальчески сморщилась она и совсем некрасивая стала.

— Скотина? — подсказал он, помаленьку опять накаляясь.

— Нет, — ответила. — Животные дерутся, например, лишь до первой уступки слабейшего. Так у животных. А люди? — и вспомнила: — Азарт. А почему, вы знаете? Это же так страшно и важно, а я не понимаю, почему.

Грихе ответить было нечего.

— Почему с меня могут снять шаль? Почему мама тревожится, если я вечером задержусь? Почему я бегу по глухой улице в темноте и боюсь? Кого я боюсь? Человека, да?

Гриха убрал раскинутые по диванной спинке руки, скрестил их пальцами и хрустнул. Совсем чокнутая деваха. Хоть бы не заревела, что ли, смотреть на такое лицо невыносимо.

— Скажите, — дрожал голосишко, — откуда это право? Право сильнейшего, да?

Вот завелась, вот влип так влип.

— Но сила — она ведь не вправе отобрать, а вправе дать, вправе защитить тех, кто слабее. Разве нет?

Гриха глядел в сторону, глядел на сервант, там красивая посуда сверкала за стеклом. Прибарахлилась Валька...

Гриха хотел отключиться, как всегда даже ловко — поневоле наловчиться! — умел делать в колонии, если требовалось душе и телу. Но сейчас слишком, что ли, пустынно и тихо было кругом? Только от стараний этих или от чего иного подступила тоска. Предельное такое, тесное чувство, когда необ-

ходимо спустить с колышков нервы или...

В этот момент зазвенел телефон в коридоре. Зазвенел неожиданно резко и как-то очень уж громко — оба вздрогнули.

— Вот, — сказала она растерянно.

— И дали ему год, — откликнулся Гриха.

— Что? — не поняла она.

— Да так, присловица.

А телефон звенел, настырный и заполошный. Кто-то Вальке? Интересно бы послушать, кто. Или звонит сама, узнать, явился ли он? Явился, явился, да еще хвоста привел.

Когда утихло наконец, хвост этот, мучительница Грихина, говорит:

— Я пойду.

Гриха воспрял.

— Итак, — пружинисто поднялся с дивана, сладко потянулся, — встреча прошла в конфи... конфи-ден-циальной атмосфере, пресс-конференция закончена. Высокие договаривающиеся стороны к соглашению не пришли, но обменялись... гм, дружескими пожеланиями и выразили надежду. Какую? Что, гм, больше никогда не встретятся. Так?

Вот какой изящный экспромт задвинул Гриха. И снова на коне был он, снова улыбалась удача. Ах, уж эти настроения — никогда не знаешь, какие посетят, какие покинут.

Рыжая ничего не ответила, только застегнула верхнюю пуговицу на пальто, печальная такая и несчастная всем своим видом, и от дверного косяка отстранилась совсем устало.

У Грихи, столь натерпевшегося за это утро, к ней было весьма стойкое и определенное чувство неприязни отрицательного, так сказать, человека к человеку, так сказать, положительному.

Но было, несомненно, и кое-что еще, более раннее: удивление. Оно-то и спутывало все остальные его настроения и мысли.

Впервые попав в подобную ситуацию и не умея не только разобраться в ней, но пока хоть бы приблизиться к пониманию — времени еще нет, — он, тем не менее, по своему беспокойству, не слишком-то ему свойственному, догадывался все же, что встреча эта поболее чем просто неприятность.

Если угодно, даже что-то вроде уважения к рыжей этой девчонке, к курочке-рябе возникло: боялась ведь, а не отступилась. Мужики, и то далеко не каждый станет ввязываться, Гриха по опыту знал.

И, вероятно, поэтому ему все ж таки захотелось упрочиться в своем удачливом настроении. На коне-то он на коне, да только на каком? Не худо бы и стремена под ногами ощутить.

Гриха выскочил в коридор, а она уже уходила, уже дверь за собою прикрывала. Но первое, что увидел он, — это ее шапка, лежала на стуле.

— Стой! — закричал. — Ты шапку позабыла!

Она заглянула.

— Ой, — покраснела еще жарче. — Подайте, пожалуйста.

— А лучше-ка, знаешь что? Зайди сама, — сказал Гриха, с преодолением, впрочем.

— Зачем?

— Договорим маленько. А то свалила на одного меня все грехи.

Она помедлила, глядя вбок, потом пожала плечом.

И вернулась.

— Только ты уж, будь ласка, не стой больше, а то, понимаешь, — он хохотнул, — навряд как: «Встать, суд идет!»

Она присела. На тот же стул, только на краешек: мол, давай покороче. Поменялись ролями!

Гриха выволок и себе стул из комнаты, там же, на выходе, разместился.

— Закурить можно?

Вот чего ему все время, весь этот час не хватало — сигареты! И ни сознательно, ни машинально не воспользо-

вайся почему-то столь благодатно-отвлекающим средством.

— Как хотите, — ответила она. Кажется, все равно ей было, то ли выложилась вся, то ли потеряла какие-то первоначальные надежды, то ли попросту надоела ей такая канитель.

— Я что хочу сказать? — после первой затыжки начал Гриха. — Я согласен, что-то должно быть в душе, в сознании человека. Я и сам так думаю. А вот как эту характерность привить каждому? Вопрос. Может, и я буду когда-нибудь честным гражданином, но пока я сомневаюсь в этом. И этого, между прочим, не скрываю. Но! — он вскинул перед собой указательный палец. — Но я знаю и вижу, сколько нечестного творится иногда.

— До поры до времени, — вставила рыжая.

На пререкания Гриха распыляться не стал.

— Вот и спрашивается тоже: а почему? Если наказывать, то всех. А то, к примеру, моя соседка считает за подлость заговорить со мной, брезгует, но чего только нет у нее в квартире! Наверное, одного черта, да и тот где-нибудь зарыт. На какие, спрашивается, доходы? Обыкновенная продавщица в гастрономе. А другой знакомый дачу двухэтажную отгрохал, имея зарплату в сто двадцать рэ и двоих детей. Зато на выгодном местечке уселся: он кому-то, тот — ему.

— Зачем, когда речь идет о нас и только о нас самих, ссылаться на посторонних?

— То есть как это зачем? — едва не подпрыгнул Гриха. — Так это же от имени меня осуждают! Это их оберегает закон от меня! Это обидно, поняла?

— От Вас и надо оберегать, — тихо сказала девчонка.

Теперь она не смотрела на него, васильковые глаза цвели под опущенными долу веками. На руки свои она смот-

рела, а руки, оказывается, у нее тоже все в веснушках.

Должно быть, окончательно опротивел, ежели и глядеть больше не желает. Но это было несправедливо! То есть, конечно, если исходить не из частного случая, утраченного, а брать вообще, в масштабе, личностей не касаясь.

— Э, нет, — не согласился Гриха. — Я за свое отвечаю, пусть отвечают и все. Вот говорят, вот пишут: если копнуть, хватает всякого. Что, нет?

— И потому, значит, вы считаете, что все возможно и допустимо?

— А почему бы нет? Другим можно, мне тогда тоже.

— Однако какая удобная позиция! — васильковые глаза наконец обратились к Грихе. — Лучше падать в лужу, чем... — она не договорила, ну, да и так было понятно.

— Скажи, — спросил он, — какими статьями закона можно предусмотреть все, что случается в жизни? Никакими.

— Что вы этим хотите сказать?

Тут у Грихи произошла заминка, — он, уже весьма утомленный с привычки к таким мудреным и напрягающим разговорам, потерял нить своей мысли, точнее — не сумел ее уловить словесным оформлением.

Он и так титанический, надо сказать, труд проделывал в эти часы. Напихано в нем всякого было немало, конечно, за двадцать восемь-то лет, да только вот на свет божий этого вытаскивать не находилось нужды.

Гриха, как и всякий человек, разумеется, имел какие-то убеждения, но, поимев их, перетряске после не подвергал — что за убеждения тогда, ежели переменны? А потому и не напрягался ни на излишние сомнения, ни на доказательства в свою защиту.

А сейчас пришлось. Сейчас против него сидел другой человек, совершенно незнакомый — и что Грихе до него, а тому до Грихи? — и этот человек имел иные убеждения, ради которых готов

тратиться нервами. Такое в Грихины понятия не входило.

Нет, он не колебался, никаких угрызений совести или чего-то подобного не испытывал и сейчас, такое в его жизни всегда шло мимо чувств, их не затрагивая. Но сейчас ему пришлось выискивать в себе ответы на чужие вопросы. Главное: прежде чем ответить на них, нужно было повторить их уже самому, про себя, своим голосом. А они, вопросы эти, зависали, как эхо в горном ущелье, и голоса своего в этом эхе Гриха не узнавал. Почему-то беспокойно ему было. Не нравилось.

И что противопоставить не всегда что находится, тоже не нравилось. И многое что еще, пока неясное.

А инстинкты заботились о равновесии. И Гриха выхватил из своих пропыленных запасников очередную сентенцию:

— Делай отсюда досюдова, а дальше не моги? Это же рамка. Скучновато. Человеку, между прочим, и в колыбели тесно.

Но она возьми да ответь из другой совсем оперы. Будто бы и не слышала про рамку.

— Боже мой, — вздохнула. — Такая тоска...

Гриха смолчал.

— А все равно ведь те отсидки за проволокой не искупают ничего.

— Что же, законы под сомнение ставишь? Или клейма нам на лбу печатать? — обозлился вдруг Гриха, и не столько, может, ее словами, сколько опять же ее отношением — ведь тратится же, ведь физиономия такая, что прямо заплачет!

— Нет, — ответила тихо. — Законы под сомнение не ставлю. Срок кончается — и человек прощен. Иначе и не может быть. Но, понимаете, горе-то по убитому остается навсегда горем для тех, кто любил его, кто в нем нуждается. Страх пережитого насилия — тоже

навсегда. И человек боится человека. Вот ведь какой ужас, понимаете?

Грихины инстинкты зароптали. Надо же, дал ей форы одну пешку: дескать, пусть поиграется, авось в дамки выйдет. А вот и вышла. Куррочка-рряба.

Гриха пошел ва-банк.

— Ты читала философа, французский, по фамилии... — и тут незапомненная фамилия счастливо возникла в памяти: — Ламэтри?

— Нет, — ответила, — не читала. Но если французский, то с ударением на последнем слоге: Ламетри.

Грихе сильно польстило, что Алик Мерседес читает такое, что люди, и в институтах учась, не знают. Мы тоже не лыком шиты!

— Без разницы, — отмахнулся. — Так вот, философы считают, что преступные наклонности — от природы, преступники несчастные люди, а в судах должны врачи сидеть, а не юристы. Почитай!

— Почитаю, спасибо. Только во всяком учении, во всякой книге можно и обнаружить всякое, в зависимости от своего понимания и своей нужды. Кому что подходит. И если вы решили, что не принадлежите себе, своему разуму, вас можно пожалеть. Но тех, кто себе не принадлежит волей и поступком, общество изолирует. Там или там. Увы.

— В дурдоме или в колонии? — догадался Гриха.

В общем, получилось так: наши едут, ваши идут, наши ваших подвезут. Гриха снова ощутил тупик.

А позади и не обозреть уже, сколько протопали, по каким дорогам и переулкам, сколько раз спрямляли путь поворотами. Гриха отступил к одному из них и сказал:

— Возможно, я и заблуждаюсь в своих взглядах. Но пусть меня разубедят. Я попал в колонию в первый раз в семнадцать лет, меня должны были воспитать. Но — увы! Нет пока у нас в колониях такого. Твоя судьба там представлена самому себе. Над проблемами

перевоспитания осужденных работают ученые, но где плоды их работы?

— Демагогия, — усталым голосом отозвалась Грихина собеседница.

— Чего? — переспросил. — Я таких слов не знаю.

— Но философов читаете?

— Да нет, это не я. Есть там у нас один, молоток. А я так знаю — отрывки из обрывков. Значит, говоришь, демагогия? Ладно, пошарим в словаре, есть такой у сестренки. Но все же: как насчет того, что одна мучка, да не одни ручки, а? Уже не о своей соседке говорю.

— А о чем?

— Да вот я во многих местах работал и навидался всякого. Зато фильмы смотрю — все прекрасно. Э?

— Во-первых, в наших фильмах сейчас очень даже не все прекрасно — в них жизнь со всеми ее противоречиями, — и рыжая медленно провела ладонью по своему лицу. — Во-вторых, вот мое мнение: прежде чем осуждать кого или что, всем нам нужно посмотреть на себя, вы не согласны?

Гриха смолчал.

— Вы не согласны? — повторила вопрос. — Почему, скажите, ждать от кого-то другого, тем более — требовать, чтобы чистота была и порядок, чтобы кто-то другой чистил? А что же самито? Что за господа? Вы хотя бы немножечко подумайте об этом. Пожалуйста. И сами увидите, как начнет расползаться ваша теория. Ну, пожалуйста.

Гриха отвел глаза и полез в карман за сигаретами.

Она встала, и это было неожиданно. Почему-то. Хотя не век же они собрались этак заседать.

— Пойду, — сказала. — Прощайте.

Гриха даже ответа не успел сочинить — дверь уже захлопнулась.

Он смял вынутую сигарету и, отпнув стул, вернулся в комнату. Тесно стало опять.

Поманило посмотреть в окно. Гриха сразу увидел ее — шла по двору и сейчас скроется за соседним домом.

Скрылась.

Ощущение тесноты усиливалось. Надо было... Что было надо?

Затрезвонил телефон, почти испугав. Но теперь Гриха кинулся к нему, как за воздухом.

Звонила Валька.

— Ну, и как? — спросила.

— Я... только что пришел, сейчас буду смотреть твой ящик, — бодро доложил Гриха. — Валь, все будет о'кэй.

На другом конце провода помолчали секунды две, потом Валька сказала:

— Если проголодаешься, то обед в холодильнике. Разогрей.

У «ящика» оказалась совсем пустяковая неполадка — просто магнитные головки засорились, и их нужно только протереть спиртом.

Спирт в доме нашелся — Гриха все пузырьки в серванте вынюхал. Спирт покоился — видать, на случай простуды — в небольшом флаконе рядом с йодом и таблетками.

Искус прикончить его самому Гриха в себе подавил. Протер головки и стал одеваться.

Первая публикация

Валерий Берсенеv

ДЕЛО ВЕСНЫ

Весна поспешно правит дело:
Вон там — промоину прорыть,
Сугроб подтаявший и белый
Стеклянным кружевом накрыть...

А дни — бегут, обыкновенны,
И дням не видно на бегу,
Что тропок выпуклые вены
Легли в подтаявшем снегу.

Еще пригрело солнце с неба —
И мир моложе с этих пор:
Из ясных, белых десен снега
Прорезывается забор!

КОГДА МУЖ СТИХИ ПИШЕТ

— У других мужья — как люди:
Водку пьют, стихов не пишут.
Я прошу тебя о чуде:
На машинке шлепать тише.

Я не верю, не девчонка,
В музы, лиры, вдохновенья.
У меня они в печенках,
Эти чудные мгновенья!

Чем дурачиться да бредить,
Мнить себя маститым автором —
Постыдись, у нас же дети —
Наколот бы дров на завтра!



ГРОЗА

Как тяжело дыхание зноя!
Недвижно воздуха стекло,
И темно-синей пеленою
Весь горизонт обволокло.

Струятся контуры и тени,
Струятся лица и тела,
И в неподвижное движенье
Жара полмира облекла.

И тут обыденно, без гула,
Храня пока еще покой,
Зарница издали блеснула,
Чуть отраженная рекой.

Еще немного — ветер, ветер!
И зной — за грохотом исчез,
И ливень, весел, чист и светел
Косыми струями на лес
Упал,

Запнулся, выждал малость,
И вот, обильна и легка,
Гроза в реке забесновалась
И зачеркнула берега.

МЕЖДУРЕЧЕНСК

Любовь Скорик

Рассказы



С Ю Р П Р И З

— Пе-ла-ге-я! — голос пробился к ней из какой-то немислимой дали и был таким родным, что она немедля рванулась ему навстречу. И — проснулась. Ну чего, спрашивается, кинулась как скаженная?! Надо было тихонько, осторожно, а теперь все — спугнула сон. Кто-то свой позвал, самый близкий. И страшно далекий. Голос тот звучит в ней, и на его зов радостно толкается в груди сердце. И радость, молодая, знобкая, давно уже забытая, все не отпускает, греет, ласкает ее притомившуюся от долгой жизни душу.

«Да к детям же это! — догадалась она. — Сегодня всех повидаю». Ее тело трепыхнулось немедля вскочить, куда-то бежать, что-то делать. Но она удержала его. Нельзя. Штора на окне серая, будто грязная. Значит, совсем еще рань. Вот как станет она розоветь, как цветы на ней проявятся, тогда можно. В доме строго оберегают утренний сон. Ночами все пишут да читают, а потом готовы до полдня спать. Тут тебе ни ногой шоркнуть, ни воду из крана пустить. Но сегодня-то, поди, пораньше встанут.

Ей делалось странно от мысли, что увидит она нынче всех детей враз. Поодиночке-то они наведываются, а вот вместе собирались — она уж и не припомнит когда. Неладно толь-

ко, что из-за нее потревожились. Ведь у каждого семья да работа, легко ли выбраться! Будь ее воля — не трогала бы их, все ждала бы, когда кто сам заглянет. Ждать-то она за свою жизнь научилась. Да и обижаться ей грех. Хорошие у нее дети, не забывают. Деньги шлют, подарки к праздникам, в письмах приветом не обходят, о здоровье спрашивают. Не надо бы им лишний раз-то надоедать. Вон, видать, Володю с работы не отпускают. Ведь как Георгий на него в телефон кричал:

— Никаких дел! Надо было раньше думать, не вчера узнал. Скажи своему начальству, что юбилей у матери. Не пропадут без тебя за три дня. Напомни им, что такое мать, если забыли.

Боязно ей стало, что сын из-за нее в ссору с начальством войдет, неприятности наживет. Попыталась сказать, ладно, мол, в другой раз приедет, так Георгий и слушать не стал: — Целый год согласовывали, сколько раз день переносили. В конце концов он не ребенок, должен был все предусмотреть.

И правда, еще с прошлого года дети разговоры ведут — и в письмах, и по телефону — про то, чтоб семидесятилетие ее отпраздновать. Трудно это — всем-то разом собраться: кто на курорт, кто в командировку едет, у

кого дети экзамены сдают. И вот, наконец, сговорились. Сегодня собираются.

Родилась она зимой, и сам-то день ее рождения давно уже прошел. Зазвала ее в тот день к себе Анна Васильевна, соседка. Наливки они с ней выпили, посидели, поговорили, всплакнули вдвоем — и все. Так что то — не в счет. А здесь — дети будут. И гостей назвали. А вот без чужих-то можно бы и обойтись. Собрались бы свои, родные только — да и ладно. А то развели канитель такую — просто жуть. Она холодела, когда привозили ящики с тонкими длинными бутылками, рыбин больших, кур сетками. Страшно было подумать, что из-за нее весь этот переполох. Уговаривала, мол, зачем, да куда там!.. За эти дни она, кажется, усохла еще больше.

Если уж вправду, то желание стать меньше, незаметней преследовало ее все эти годы, что она живет здесь. Раньше, у себя в деревне, она и не замечала, что такая несуразная да неуклюжая.

А тут... То выйдет и дверь захлопнет, а ключа не возьмет. То сдуру стол полированный мокрой тряпкой вытирать станет. То кран хорошо не закрутит, и вода капает, всем спать мешает. А то еще чище — чай сбежал, газ-то загасился, а она его и не выключила. Ведь чуть было не загубила всех... Слава богу, сын и невестка такие терпеливые. Никогда не накричат, не упрекнут. Спокойно так, тихо объяснят, что и как нужно. Да разве ж ей вдолбишь! Глядь — опять что-нибудь. Нет уж, коль родилась да всю жизнь в деревне прожила — к городской жизни враз же приучишься. Вот уж, почитай, семь лет здесь, а как была деревенская, так, видно, и умирать с тем.

Не зря так страшно было ей срывать с места насиженного. Раньше, как внуки пошли, сильно хотелось уехать к детям — понычаться, помочь малых растить. Не получилось. У Георгия тогда квартира была маленькая — две комнаты всего, да и то одна — на проход. Где уж тут ей примоститься? Катя, жена его, три года не работала, с

дитем занималась. Другой сын, Петр, сильно звал. Двое у них с Людмилой, погодки. Трудно им было. В Средней Азии тогда они жили, Петро завод там строил. Поехала к ним, да ладно еще дом продать не успела и вещи свои не перевезла. За неделю она так угорела там, что еле живую назад привезли. А после, как уехали они из пекла-то этого, дети уж подросли, без няньки обходились. Ну, Мария, дочь-то, — та никогда не звала, бывало, сама сулилась приехать. Николай у нее попивает, все собиралась его бросить. Да так и не собралась. И слава богу. Мужик он добрый, работающий. Без жены совсем сгинет. А Мария-то попридерживает. Младший — Володька — к Северу своему прирос, на краю света живет. А в семейной жизни оказался несуразным. Жениться — не женился, но говорит, что где-то дочь растет. На все материнские вопросы, советы да укоры только твердит: «Сам виноват, сам»...

Георгий тогда прикатил за ней в деревню, как снег на голову. Правда, до этого писал, мол, собирайся, к нам жить поедешь. Да она как-то всерьез не приняла писанину эту. А тут явился: поехали! Она так и охнула. Давай отказываться: мол, поздно уже переезжать-то. Стал уговаривать: «Трудно ведь тебе. Четырех вырастила, а живешь одна». Трудно — это точно. Изба большая. Печь натопи, воды наноси, все приberi. Но это еще ладно. А вот огород. Конечно, могла бы и без него прожить. Да перед соседями неловко. Они сажают, а у нее, что же, лебедой, что ли, зарастет?

— Трудно, сынок, это точно, но...

— Никаких «но»! Квартиру нам дали, мама, большую. Там и для тебя комнату специальную выделили, так что собирайся. А то в обманщики меня запишут: взял, мол, комнату для матери, а — где она?

Не могла она сыну худо сделать и стала собираться. Велел он ей все подчистую продать или раздать, чтобы вещи ее в один чемодан уместились.

— На новом месте все новое тебе заведем.

Сначала-то она согласилась. А потом, как начала все подряд из дому выносить, — ну словно из сердца вырывала. Кое-что можно

было вырвать только вместе с ним. В общем, целый контейнер загрузили Георгий с Гришкой Микушиным, который взял ее избу на слом. А когда контейнер этот разгружали, Катя — жена Георгия, руками всплеснула:

— Георгий, мы же договорились!

Пелагее было жаль Катю — переживает. Но ведь из того, что привезено, ничего нельзя было не привезти.

Перво-наперво гармонь. Покойного Степана — мужа ее. Всего-то он и играл «Светит месяц» да «Подгорную». Но зато как играл! Она, гармонь эта, и решила судьбу Пелагеи. Люб ей был Степан. Да и он на нее поглядывал чаще, чем на других девок. А родители его прочили за него Шешку Казакову. Дом у Казаковых пятистенный, пара лошадей, овечек десяток. А с Пелагеинных родителей ничего не возьмешь.

Услышала Пелагея, что назавтра Степанова родня к Шешке сватов засылает. Захолонула вся, но вида не подала. А вечером — на берегу гуляние. Долго танцевали. Петька Чубатый знатный был гармонист. А после Степан свою гармонь развернул. Как ударил «Подгорную», всех в пляс вовлек. Но постепенно все реже становился круг. Потом и вовсе осталось их двое — она да Шешка. И такой у них начался спор, такая борьба, другим невидимая! Ясно было: судьба и жизнь их здесь решаются. Казалось, до скончания века будет с придыханием и отчаянными взвизгами петь гармонь и какая-то неодолимая сила бесконечно будет отрывать от земли отяжелевшие ноги. Она чувствовала: еще малую малость и — не выдержит, упадет. Но сердце, как движок, дробно стучало в груди и заставляло все тело подчиняться его ритму. Не выдержала Шешка. Вдруг споткнулась как подсеченная, на мгновение застыла в полной неподвижности и шагнула за круг. А она, Пелагея, и улыбку не упустила с лица.

В тот вечер Степан на глазах у всех пошел провожать ее. Рассвирепевший отец Степана пригрозил, если Шешку не возьмет, из дома выгнать. А он сам ушел. В тесной избе ее родителей места молодым не нашлось. Поселились в новой баньке недостроенной. Степан только гармонь с собой и принес. Ее бо-

гатства заключал в себе сундук, окованный узкими полосками жести. Сундук этот сначала и был их кроватью. Он-то как раз больше всего и напугал Катю, когда выгружали вещи свекрови.

Гармонь — сейчас на комодке она стоит — одряхла больше, чем сама Пелагея. И вот ведь удивительное дело: когда таскал ее Степан по гуляньям, рвал меха и терзал кнопки, — хоть бы чего. А как не стало хозяина, как осталась она без дела, как покрыла ее Пелагея кружевной накидкой, которую и снимала-то только, чтобы пыль сдуть, так все — стариться стала гармонь. Пожухли черные лаковые бока. Словно глаза неживые застыли потускневшие перламутровые пуговицы. Потрескалась кожа мехов. Будто ребра, выперли наружу длинные узкие планки. Молчит гармонь.

Над гармонью на гвоздике — сумка полевая. Тоже Степана. А в ней две открытки его да похоронка. Если бы еще и письма. Иной раз почитать втихомолку — словно б голос услышать. А что в тех двух открытках, с дороги присланных? И слов-то: здравствования да поклоны. Пока всех по именам перечислил — уж половину бумаги исписал. Ни письма ей Степа с фронта не прислал. В первом бою загинул.

У окошка прялка стоит. Ее-то не надо б сюда тащить. Уж совсем, было, хотела соседке подарить — да не смогла. Ведь если бы не прялка — кто знает, были бы сейчас живы и она, и дети. В самое голодное военное время приспособилась Пелагея по ночам пряхь да носки вязать. По воскресеньям к поезду ходила — продавала. Приносила домой в корзине то сахару, то мыла кусок, а то и хлеба. Кормилица и спасительница прялка. Неужели теперь, как сыты стали, взять да и выбросить ее, чужим людям отдать? Не-ет! Рука не подымется, душа не позволит. Уже тут Пелагея от нечего делать решила как-то шерсти напяхь да носков всем навязать. Ничего — заработала прялочка, будто молодая, смазать только пришлось. Целый день просидела Пелагея, вращая ногой колесо. А вечером соседка снизу пришла и пожаловалась, что муж из-за грохота целый день ничего ра-

ботать не мог. Гоша с Катей перед соседкой извинялись. А потом Катя с улыбкой так сказала:

— Вот уж не думала, что в моем доме текстильная фабрика откроется!

С того дня без дела прятка так и стоит, отдыхает. Пусть, она уж свое отработала. Только любит Пелагея смотреть на нее. А другой раз и слово какое ей скажет. Для нее эта нехитрая машина ровно живая. И родная тоже. Ведь еще в сызмальстве вытянула Пелагея на этой прялке свою первую в жизни нить.

Над кроватью — ковер. Тоже вещь памятная. Это их первая покупка со Степаном. Приезжали они с ним в город на базар. Как увидела Пелагея ковер этот — глаз не смогла отвести. Озеро зеркалом блестит. Цветы да деревья в нем отражаются. В самой середине озера — два лебедя. Тот, что поменьше, — видать, лебедушка — другу своему голову на крылья сложенные опустила. А тот застыл весь, не шелохнется — чтобы ее не потревожить, значит. На берегу озера — дворец сказочный... Собирались-то они тогда купить совсем не то, а воротились домой с ковром. Как повесили его над кроватью, так и засветилась их банька, даже будто просторней стала. Пелагее казалось, что деревья те ночью потихоньку шумят, а цветы сладко дурманят. Очень гордилась она своим ковром. И потом в новой избе кровать поставила напротив окна, чтобы красоту эту с улицы люди видели.

Много лет ковер украшал их дом. Однако постепенно от старости озеро словно тиной серой поросло, деревья пожухли, и цветы есыпались, и лебеди посерели. Потом уж, после войны, заезжий маляр обновил ковер своими красками. И снова засверкало озеро и распустились цветы. Только лебеди стали теперь какие-то грустные, словно друг с дружкой прощаются.

Комод, что в приданое ей достался, две расшатанные табуретки, еще Степой сколоченные, кровать — вот и вся ее обстановка. Ей-то глянется, а вот детям не совсем по праву. Сколько раз подступались к ней, мол, надо хлам этот выбросить да новую мебель поставить. Пелагея, обычно сговорчивая, тут наотрез отказывалась.

— Ты пойми, мама, — говорил Гоша почти всерьдцах, — у нас люди бывают. Увидят эту рухлядь твою, что обо мне подумают?

И все же нет и нет — не сдалась Пелагея...

Чего это она сегодня, словно проверяльщик какой, в памяти все перетрачивает? Должно, голос, что звал ее так ласково, душу всколыхнул. К тому же звал именем ее старым, настоящим, от которого она и отвыкла уже вовсе. Когда в первый день в этом доме к ней постучала Катя и спросила: «К вам можно, Полина Михайловна?» — она не сразу даже поняла, что это к ней. Хотела поправить, мол, не Полина, а Пелагей, но сробела, ступевалась. А потом-то привыкла к своему новому имени. Ишь, и имя старое не по нраву пришлось. Но она не обижается. С именами у них вообще ничего не понять. Гошу зовут как-то по-казенному: Георгием. Уж и она сама следом за всеми так звать его стала. А Катю да Валерию и вовсе порой кличут так, как она сроду и не слыживала — Кэт да Валерй. Ну, да бог с ними. У них, у молодых, много кое-чего непонятного. К примеру, в одной семье друг к дружке стучаться. В деревне, бывало, к соседям идешь, из сеней крикнешь: «Хозяева дома?». А тут — жена к мужу в кабинет стучит, отец у дочери разрешения войти спрашивает. Чудно, ей-богу.

...Спать долго Пелагея никогда не любила, а уж к старости-то и вовсе. Сегодня, в такой день, уж сколько бы дел переделала, да ведь нельзя: дверь скрипнет, тапочка шоркнет — других разбудишь. Да и делать-то ей, честно говоря, почти нечего. Готовить еду и прибирать в доме каждый день приходит к ним Шура из соседнего подъезда. Много лет, еще до Пелагениного приезда, помогает им. Хорошая женщина, работающая. И все же не свой, не родной человек и, значит, не от сердца работает — за деньги. Неужто она, мать, хуже бы управилась со всем? Только и выпросила себе разрешение — завтрак готовить. Поначалу такие оладышки да пирожки стряпала! Ели за милу душу. И то сказать: это не ихний бульон с сухарями. Так нет, не угодила:

— Вы, Полина Михайловна, раскормить нас решили. Нельзя нам много печеного. А

перед вкуснотой этой просто не устоять.

Потолстеть боится Катя. А посмотреть — в чем только душа держится. Гоша тоже — по утрам гири тяжеленные поднимает — от лишнего жира избавляется. А Валерия — та, бедная, все через скакалку скачет да круг на талии крутит. Тоже худобу нагоняет. А будь бы она чуток попухлее да порумяней, девка была бы — загляденье.

Ну, вот вроде рассвело. Цветы на шторах покраснели. Теперь и вставать можно.

Первыми пожаловали Мария с Николаем. Николая-то из-за выпивки не очень жалуют здесь. Видно, Георгий с Катей не сильно хотели, чтобы и сегодня приезжал. А он — пожалте, вот он. И правильно: или он не зять Пелагее? Конечно, плохо, что в выпивке меры не знает. А так человек хороший. Маруся любит его, он ее. Врозь не ходят, не ездят никуда. Только завтракать сели — подкатил на такси Петр с Людмилой. Уставшие, сонные. Вчера полдня да ночью всю в порту просидели — самолеты чего-то не летели. Почти к обеду — звонок, длинный-длинный. Это уж точно он, Володька шальной, вечно так — с шумом-громом. Сграбастал мать, закружил, зарычал своим вечно простуженным голосом:

— Гляди, мать, что привез тебе!

К нему метнулась Мария:

— Владимир, мы же договорились!

— Отстань, сестренка, это сверх программы! — И вытряхнул под ноги Пелагею что-то пушистое. Разглядела — шкура медвежья. Страсть большая кожа. Все подошли, принялись ахать да охать, а Пелагея подальше отступила: что-то робость взяла.

После обеда Георгий хитро так поглядел на мать:

— Да, мама! Анна Васильевна чего-то звала тебя. Ты сходи.

Если рассудить, то какие у нее с Аннушкой, Анной Васильевной, могут быть общие интересы? Пелагея-то, считай, вовсе неграмотная, а Аннушка всю жизнь учительницей была. И сейчас все книжки читает. А вот, поди ж ты, — подружались. Про жизнь начнут говорить — остановиться не могут. Здесь

Пелагея наговаривалась, отводила душу. Дома-то не очень поговоришь: то нет никого, то все занимаются, то гости придут. Здесь, у Аннушки, Пелагея и кое-какие капризы себе позволяла. То вдруг ей редьки с квасом захочется, то черемши, которую тут колбой зовут. Дома-то нельзя: пахнуть будет. Здесь же пировали в день рождения Пелагеи. Загодя настойку поставили. Сладкая да вкусная вышла настоечка. По рюмке выпили, а по второй уж не осилили.

Очень хотелось сегодня Пелагее Анну Васильевну на праздник свой пригласить — угостить, детей показать. Но помнила она, как Гоша с Катей гостей на бумажку записывали, спорили даже, кого вычеркивали потом, кого, наоборот — дописывали. Многих наметили пригласить. Из Гошиного института, из Катиной школы, еще кого-то. Попросить, чтоб Анну Васильевну записали, Пелагея не решилась, постеснялась. Теперь вот неловко ей сделалось. Аннушка выспрашивала у нее про детей, радовалась вместе с Пелагеей, что никто не запоздал и что все живы-здоровы.

Пелагея совсем засовестилась и уже хотела пригласить Аннушку на праздник свой, но та опередила ее:

— Хотела я, Полина Михайловна, зайти к вам сегодня, поздравить. Да вот бывшие ученики в театр сговорили. Зайдут скоро, а отказать неудобно. Вы уж, голубушка, не сердитесь. И подарок мой скромный примите, пожалуйста, — и фартук преподнесла, такой нарядный, что Пелагея прослезилась от благодарности.

А тут и Валерия прибежала за ней:

— Ой, бабуля, пойдем скорее: там все тебе такой сюрприз приготовили!

Зашла в прихожую, и как-то неладно стало на душе у нее, вроде почувяла что нехорошее. А дети все загадочно улыбаются, в ее комнату повели ее. Как раскрыли перед ней двери, как глянула она, так и покачнулась. Что же это такое — сон или наваждение? Ничего: ни сундука ее, ни комода, ни прялки, ни кровати, ни даже штор цветастых — не было. В ее комнате поселились чужие вещи:

шкаф колченогий, блескучий, стол зеркальный, диван пузатый, на окнах повисла прозрачная, как марля, кисея.

— Это, мама, тебе от нас всех.

— Все самое современное.

— Хоть на старости лет поживешь в уюте.

— Это тебе наш сюрприз, мама!

«Господи... Господи, — проговорила про себя Пелагея. — Да что же это!!».. Вслух ничего не могла сказать. Она стояла у входа недвижно и немо, к ней постепенно приходило ощущение, что для нее в этой жизни уж все кончилось...

Усадили ее в передний угол, на почетное место, окружили вниманием, какого она никогда не испытывала. И ей было непривычно и неуютно, хотелось спрятаться или хотя бы отвести от себя взгляды.

Когда налили в бокалы шампанское, первым на правах старшего встал Георгий. Он говорил, как всегда, умно, красиво, только чуток мудрено:

— Друзья мои! Много в языке человеческого прекрасных слов. Но во все времена не было, нет и не будет более прекрасного и святого слова, чем «мать». От матери в мире жизнь, добро, тепло и красота. Наша мама — простая деревенская женщина. Но если в нас, ее детях, есть что-то хорошее, — то все это от нее. За семьдесят лет много выпало на ее долю горя и невзгод. А потому давайте выпьем за то, чтобы прожила она столько же, но испытывала только радость и счастье!

Все встали, потянулись к ней с бокалами, заставили ее выпить и сами выпили. Потом поднялся Петр. И тоже хорошо говорил:

— Пытают меня другой раз ребятишки, как это я на простой, строительной работе столько наград умудрил. Говорю, мол, от жадности это. От жадности к работе. А жадность эта — от матери. Она сама без дела сидеть не умела и нас сызмальства к труду приучила. Так что спасибо тебе, мама, за ту науку!

Володька — тот как всегда:

— Чего там речи разводить, мы не на собрании. А мать у нас — что надо, мировая у нас мать! — подошел, весь сияющий, и поцеловал в щеку.

Мария тоже что-то сказать хотела. Да сле-

зы прежде слов пришли. Постояла она с бокалом в руках, похлопала да и села. В другой-то раз Пелагея здесь же встречать ей заплакала бы. А тут не было слез, ровно в песок ушли. Или, может, замерзли они? Какая-то стылая сделалась у нее душа. Будто вынули из нее что-то главное, что грело и радовало. Да вот же она, радость-то долгожданная: все дети ее тут, здоровые, веселые; хорошие слова говорят ей. Сколько мечталось о таком, сколько виделось по ночам! А что-то не спешает счастье в сердце, не осветляет ее изнутри, не греет. Как же это...

Она дождалась, когда стали говорить уже не о ней, а о чем-то другом, тихонько встала и вышла из-за стола. Прошла на кухню, где Валерия готовила кофе.

— Куда это попрытали-то все? — спросила она у внучки робко, с какой-то еще надеждой.

— Что попрытали? — не поняла Валерия.

— Дак вещи-то мои.

— Вещи! — звонко засмеялась внучка. — Ну ты скажешь, бабуля. Никуда их не прытали. Просто погрузили все старье на машину и увезли.

— Куда?

— На свалку, наверное. Да ты что, жалеешь их, что ли? — глянула в лицо ей Валерия. — Господи, нашла о чем страдать! Да весь тот хлам гроша ломаного не стоит.

Ступая тяжелыми, негнушимися ногами, Пелагея прошла в свою комнату. Света зажигать не стала — было достаточно того, что шел из коридора через стеклянное окошечко над дверью. Попробовала посидеть в кресле. Но почувствовала, что оно засасывает ее, как болото, в котором она тонула в детстве. Не раздеваясь прилегла на диван. И сразу же встала: не улежать на нем, тугой, скатывает тело к стене. Оттянула в сторону медвежьей шкуру, достала из нового шкафа пальто, растелила его на полу и легла.

Она лежала на полу и думала. Все-таки хорошие у нее дети. Вон все работу, дом бросили, к ней приехали. Праздник ей устроили. Нет, были бы плохие, разве бы... Да что это она, ровно уговаривает себя: хорошие, хорошие! Без всяких уговоров — хорошие у нее

дети и все! И не по злобе, а по неразумению молодому горько ей сделали... На свалку... Всё подчистую. И даже гармонь. Вот беда-то... Знать бы, где она, свалка эта, да пойти бы взять гармонь. Хоть ее. Вдруг дождь пойдет — размокнет ведь...

Глаза привыкли к темноте, все ясно различали, и Пелагея еще раз оглядела комнату. Кругом нее были новые, необжитые, незнакомые, совсем чужие ей вещи. Она смотрела на них и остро чувствовала, что в этой теперь такой красивой и тоже чужой комнате есть что-то лишнее, совсем ненужное здесь. И догадалась вдруг, что это лишнее — она

сама. И тут же совершенно отчетливо поняла она, чей голос звал ее нынче ночью. Да ведь это же Степан звал. Сразу стало покойно и легко, отхлынуло от сердца все тревожное и суетное, и она закрыла глаза...

Кто-то приоткрыл дверь и в нерешительности — входить не входить — стоял в проеме. Но еще кто-то сказал:

— Устала она. Не мешай, пусть спит.

Благодарность за это разрешение переполнила всю ее до последней косточки, и она, боясь, что ей могут снова помешать, заспешила на ласковый зов своего Степана...

Н А П О С Т У

Вышел дед Федот, занял свой пост, приступил к дежурству. Приступить-то приступил, а начать — не начал. Нечего пока делать: спит народ. Непорядок это — спать без меры. Люди прямо готовы жизнь проспять, ровно у каждого еще две в запасе. Да что люди — петухи разленились: спят, пока не припечет. Да и солнце вставать не спешит. Вон еще и не проглянуло. Досадно деду на такое расточительство: сколько делов можно переделать. Ну или хоть вот так тихонько посидеть, вокруг поглядеть, тишину послушать. А то ведь что: пососкочут с кровати-то, сорвутся, словно оглашенные, понесутся, завертятся, расшумятся, распугают тишину, взбаламутят все вокруг. Спят, спят, окайные, подушки продавливают.

Ан, нет — идет кто-то. Хоть один сегодня день вовремя начнет. Э-э-э, да их двое и, похоже, не ложились еще вовсе. Ага, снова Витька Светку с реки ведет. Вон за деревья прячутся. Да от него-то не больно спрячешься. Так и есть, в калитку не пошла, в окошко влезла. Знает Федот, как Витьке не хотелось счас мимо-то проходить. Да пути другого нет. В проулочек свернуть побойтся — там у Манеихи собака такую колготню устроит, что разом все к окнам прилипнут. А Витьке это совсем ни к чему. Ишь, крадется по-за кустами, думает: старый дед, слепой.

— А ну, иди сюда! — говорит Федот. Витька, поколебавшись, бредет к нему.

— Здравсьте, Федот Никитич!

— Здорово, Витек! Чей-то раненко, говорю, поднялся?

Витька мнетя, молчит.

— Ну вот что, паря,— без лишних проволочек приступает дед Федот к главному,— ты не смей девку забижать...

— Никто ее не обижает.

— И не перебивай, когда с тобой разговаривают! Не забижай, говорю, девку, потому — сирота она.

— Какая же она сирота — отец с матерью есть.

— У ней дед на фронте погиб. Она без деда выросла. И не криви рожу-то. Герой был Иван Корякин, только орденов ему дать не успели: сразу, в самом начале погиб. За тебя жизнь свою положил. И права такого у тебя нет, чтобы Светку, внучку его, обижать.

— Летучая политинформация,— говорит Витька. Тихо говорит, чтобы не услышал старый.

— Ты что там бормочешь-то? — настораживает уши дед Федот.

— Правильно, говорю, Федот Никитич, все правильно. Понял я, вник.

— То-то же! — возвышает голос Федот и

для пущей строгости грозит пальцем. — Смотри у меня!

Ушел Витька. И снова на улице никого. Заспанное солнце начинает лениво высываться из-за недалекого леса, однако, увидев деда и застыдившись своего опоздания, спешит вылезть окончательно, по пути распалаясь, пытаюсь наверстать упущенное. Дед укоризненно смотрит на опоздавшее светило. Но все же стягивает с головы шапку, поддегивает штаны, которые всё норовят сползти, одергивает шубейку на плечах, стряхивает пыль с высоких самоткатных валенок. Федот приветствует новый день.

А вот и Тихон бежит со своим ружьишком. Ишь, как нажимает, спешит вперед начальства поспеть, будто всю ночь стоял в карауле, магазин со складом стерег. Рожа со сна помятая, и сполоснуть ее не успел.

— Погреться малость ходил, — говорит Тихон, семена мимо Федота.

— Погреться! — хихикает дед в ответ. — Погреться! Да дрых ты ноченьку всю рядом с бабой своей. Я тебе, Тихон, говорил и еще говорю: пойду к председателю, расскажу, как ты работаешь, как службу несешь.

— А че ее нести? Кому она нужна? От каких таких грабителей караулить-то? Хоть раз за все время ограбили чего? Уж, поди, десять сторожей сменилось при ружье этом, а оно так ни разу и не стрельнуло.

— А все едино: поставлен на службу, значит, должен нести ее. За что деньги платят? Я тебе в последний раз говорю: еще сбежишь с дежурства — истинный бог, расскажу председателю. Выметут тебя отсюда как миленького.

— Тебя, что ли, вместо поставят?

— А хошь и меня, не боись — управлюсь.

— Не смейся бы людей. Кто возьмет-то тебя? Тебе годов-то сколь?

Каркнул про года и скорей бежать. А у деда настроение вмиг упало. И правда, все про них, про года-то свои, он забывает. Никак старость в сердце ему не идет. Руки-ноги — верно, эти свой возраст чувят, заржавели, заскряжли. А нутро — нет, нутро ещё как новенькое. Когда в прошлом году девять десятков ему отмечали, он дивился: неужто

впрямь столько наступало? В тот день все было нарядно и празднично, сидел он в клубе на сцене, говорили про него слова красивые, потом всем миром за столами в саду колхозном сидели. А на другой день его портрет в газете был. А Тихон? Пусть-ка он доживет до такого вот дня, а потом уж в чужие года пальцем тычет. Да где уж ему, Тихону, до такой чести дожить? Пустой, ничемный человек. В пятьдесят лет в сторожа подался, да и то норовит увильнуть. Дед зажмурился и всем телом ощутил солнце. Ласковое, теплое, доброе. Какой хороший день чуть было не испортил негодник!

Тишина опала под напором коровьего мычания, хлопнула чья-то калитка, ей разом отозвалась другая. Хор, однако, вышел нестройный, жидкий. Федот вздохнул: не в каждом дворе нынче коровенка. Бабы совсем разленились: им, вишь ли, в тягость подоить да в стадо выгнать. Сты — в деревне скоро уж и навозом перестанет пахнуть, все больше бензином несет. Во, в его-то дворе вместо коровьего мычания — машинный рык. Мария-внучка мотоцикл выкатывает. Срам смотреть: сорокалетняя почти баба в мужицких штанах, взгромоздится на пыхающую вонючим дымом железку и летает по полям с утра до вечера. Агроном, вишь ты, начальник! Она на работе-то разоидется, так и дома утихомириться не может, все командует. Мужика своего — даром, что лучший в колхозе тракторист, — совсем затюкала. Федот уж учил его, учил, как бабу приструнить, дак нет — тот улыбается только. Конечно, что бабе волю дали — это хорошо, но уж так-то — это слишком.

— Деда, завтракать иди. Валька уже надила.

— Пушай сюда принесет.

— Валентина, принеси деду завтрак на улицу. — Крикнула и протарахтела мимо, обдала дымом едучим. Тьфу ты, сатана!..

Из дому выходит Валентина — Федотова правнучка. В одной руке — кружка с молоком (не свое молоко-то — купленное), а в другой — две булки (тоже магазинские) с маслом. Мария, начальница-то, и квашню поставить не умеет, а хлеб подовый спечь — так и вовсе. Перед глазами возникает серый,

чуть припорошенный золой каравай. Сперво-началу надо развернуть рушник, в который он завернут, потом убрать облепивший его капустный лист, обдуть, отковырнуть впекшиеся в корку крохотные уголья и уже потом только разломить. Резать такой хлеб — грех: разом весь вкус испортить. А уж разломишь — первым делом дух вкушай... Дед сглатывает слюну и откусывает от булки бок. Нет, оно не скажешь, чтобы невкусны были эти казенные печения. И белы, и пышны, а все одно — не то, нет, не то!

Дед слышит у своих ног призывный сап. Явился, — не прозевал! Пират — соседский пес. Не соседский он сейчас, а ничейный. Соседи в город подались, дом продали. Собаку с собой не взяли, и новым хозяевам она не нужна, говорят: про собаку и разговору не было. И остался пес без хозяина. Ах, разъязви вас! Федот его к себе хотел взять, так нет, угощение примет, а дом-то свой сторожит. Так вокруг дозором и ходит или у ворот лежит. Хозяевам новым в глаза заглядывает, а те будто и не видят его. Не может он от дома этого оторваться. Худо собаке, худо. Не пригляделся еще Федот, что за люди такие въехали сюда. Надо им кое-что объяснить, ежели сами не понимают. Ишь ты, порядок навели: вымели все, вычистили, будку Пиратову сломали. Ничего, Пиратка, как сломали, так и новую сколотят.

Пират наскоро заглатывает отданную ему булку. Дед выплескивает остатки молока в лоток ладони. Пес лакает, вылизывает дедову руку досуха, благодарно колотит хвостом и спешит на свой пост. Федот не обижается: дружба — дружбой, а служба — службой.

— Деда, борщ в холодильнике, разогрей себе на обед. Там еще рыба жареная. Я ухажу. Не скучай! — Валентина, сверкая голыми ногами, бежит к конторе, где уже табунятся ее друзья-товарищи.

Ничего плохого не может сказать дед Федот про свою правнучку. Вообще дети у Марии и Василия хорошие, что надо. И Вася — из армии командир родителям благодарственное письмо прислал, и Валентина — скорая, ласковая, работающая. В школе еще

учится. Отдыхать бы летом. Так нет, каждый день на работу в поле бежит.

Ага! А вот и Клавдия! Сколько дней уж ее Федот поджидает, все никак словить не может.

— Клавдия, подь-ка сюда!

— Здравствуйте, Федот Никитич! Некогда мне, в контору бегу: председателя застать надо.

— Ничего, председателя не сейчас, так вечером увидишь. А мне с тобой потолковать надо. Да не стой столбом. Какой это разговор? Садись вот рядом.

Клавдия знает, о чем будет разговор, — потому и заспешила вдруг, — садится на завалянку и делает вид, будто не догадывается, по какой такой причине остановил ее дед.

Федот не любит всякие там запевки и начинает прямо, без обиняков.

— Умная ты баба, Клавдия, но дура последняя.

— Не дурней других.

— Дурней, ох, дурней! Такого мужика и вдруг — выгнать! А?

— Не вдруг. Он и сам знает, что не вдруг.

— Ну ладно, спотыкнулся мужик. Да ведь, Клавдия, конь-то вон о четырех ногах и то... А тут парень молодой да видный.

— Видный! Да мне начхать на его вид. И не вспоминайте мне про него. Знать его не хочу!

— Вот он, ваш ум-то бабий. Нет чтоб подумать, разложить по полочкам, так куда там! Фырк и все тут!

— Ни думать, ни раскладывать не собираюсь! И вообще, чего все лезут?

— Я — не все, — возвышает голос дед, — я крестил тебя, значит, есть твой крестный отец. Чувешь — отец?! У меня сердце изболевало, глядячи на тебя, а ты «все».

— Не обижайтесь, Федот Никитич, это я с досады да с горя.

— «С горя, с горя»! А может, горя-то и нет? Ведь разговаривал я с твоим. Крепко разговаривал. Божится: «Ничё, — говорит, — не было у меня с Нюркой, хоть режь — не было!» Ить догадки твои только. Грех великий на душу берешь, семью рушишь. Жили-то как — не нарадоваться.

Эти дедовы слова что-то переламывают в Клавдиной душе. Она притуляет голову к дедовой груди, и его сивая, не утратившая с годами пышности борода впитывает горячие бабьи слезы. Федот гладит вздрагивающие плечи, обрonnenную на его грудь голову.

— Ну будя, будя. Поплакала — это хорошо, полегчает теперь. Жизнь, девка — она не гладкая. Всяко может быть. Надо где настоять, а где и простить.

Клавдия резко поднимает голову.

— Не умею я прощать!

— Ну вот, снова за свое... Вот что, схожу я сегодня к нему вечером, да тряхану как следоват. Пущай всю правду выскажет.

— Худо мне, дедушка Федот, уж так-то худо! Надвое душа разрывается. Уж пусть бы горькая, да правда.

— Все. Сказал, седня пойду. Я из него вытрясу правду!

— Нету его сегодня — в городе.

— Так завтра, значит. А ты не терзай себя понапрасну.

Клавдия запирает в себе рыдания, утирает пыльным рукавом блузки и поднимается.

А дед Федот долго еще размышляет, как неглядка у человека жизненная дорога, как много встречается на пути разных пней да колдобин...

Пора обедать, и старик идет в дом. Достает из холодильника кастрюлю с борщом и решает его не разогревать. Чего печь топить в жару из-за одной чашки. А на плитке — он не признает. Электричество весь вкус убивает. И пусть ему не доказывают, будто это электричество в чашку там или в кастрюлю не проходит — его не проведешь. А и холодный борщ тоже хорош. И рыба жареная что надо. Шибко знатных ершей Василий удочкой натаскал вчера.

Дед Федот выносит в консервной банке, специально для этого приспособленной, борща Пирату и кость. А сам садится на завалянку дремать.

Солнце в это время на самой высоте, прогревает и голову в сплюснутой шапочке, и ноги сквозь рыжие валенки. Дед распахивает шубейку, не боясь просквозить грудь, занавешенную бородой. В полудреме он отдалается

от этого дня. Все звуки редеют и растворяются. Всплывают из глубин неведомых дни, прожитые так давно, что уже не ясно, в его жизни они были или в чьей-то чужой. То видится старуха его Настасья, видится молодой, красивой. То сын его старший, тоже Федот, убитый на войне. То сам он вдруг встает перед собственными глазами, сильный, нетронутый годами, даже и не верится, что он это. Самой большой радостью было для Федота, когда ощутится в руках инструмент какой, а в плечах упругость, напряжение всех жилок — ни с чем не сравнимая боль и сладость настоящей работы. Всякую работу любил и умел в своей жизни Федот. Знал удалой разгул косы, умное сдержанное тюканье молотка, шершавую ласковость кирпичика и прилипчивую прохладу мокрой глины. И все же восторг — такой, что не помнишь уже ни себя, ни звания своего, ни забот, до того одолевавших, — такой восторг он знал только, держа в руках зеркальную, его ладонями отполированную рукоять топора. Топорище и пятерня были в такие минуты нераздельны, едины. Он спокойно отпускал топор, и тот летел точно, куда надо. Бывало, топор оказывался умнее его, плотника. Он еще не сообразил, как линию повести, куда лучше повернуть, а топор уже сам, без его ведома повел, повел да так ладно, что Федот только дивится.

Ни одной, считай, избы не поставлено в Шалаевке без Федота. И сейчас, когда руки его уже не держат топор, кто надумал новую избу ставить или старую, отжившую свой век, заново переложить — идут за ним. Он придет, сядет на месте, где новому дому стоять, закроет глаза и сидит так, долго сидит. Тут его трогать не смей. Он в голове своей дом-то и так поставит, и эдак, комнаты раз десять по-разному разметит. И вдруг — всё, никак по-другому не идет, только так! И ни один новосел на Федота не в обиде.

Своему топору воздал Федот почет по заслугам. Лежит главный струмент его жизни в том сундуке, где дожидается своего часа последний, ни разу не надеванный Федотов наряд. И уж не сам он наряд тот на себя надевает, а обрядят его, и явится он куда всем путь лежит.

Не особенно верит Федот в загробную жизнь. Не то что не верит — сомневается.

Никто ведь еще не сказал наверняка. Ну, а есть она, так грехов больших за собой он не знает. И если придется пройти где-то там сортировку, намерен дед попасть непременно в рай. Только скуотища, поди, там. Бывал он уже раз в раю. Как-то — уж не молодой был — случилось с ним худо, свезли в рай-он, в больницу, распластали, перебрали потроха, выбросили что-то там, какую-то лишку, зашили и уложили в кровать. Вот тут-то и понял Федот, что это — рай. Все кругом белое-белое, чистое-чистое. Цветы на тумбочках. Ангелочки порхают в крахмальных халатиках и шапочках белых, из-под которых кудряшки выбиваются. И самый главный там — маленький, седенький, с крошечной бородкой. Все его слушаются, уважают и любят, каждое его тихое слово ловят, потому как — бог ихний. А в окна сад ветками шелестит, а за садом — поля неоглядные. С тех пор у Федота рай в том, больничном обличье выступает. Если так, то ничего еще. Но одно исправить надо — до работы всех допустить. Починку произвести, у кого что не так — и иди, работай. А то ведь скуотища!

Дед Федот в последнюю дорогу давно готов и думает про смерть без всякого страха. Но и не торопит судьбу, не ропщет, как друг его Матвей. Тот все доддонит, что смерть-де заблудилась где-то. Нет, Федот не волнуется, что век чужой живет. Судьба — она мудрая, рассудит, кому и когда пора приспела.

Хорошо, сладко подремывает дед Федот. Однако улицу из внимания не упускает. Безлюдна улица, пуста в это время. Попрытались все от жары. Даже куры ушли в холодок. В полдневной этой тиши гулки шаги, даже приглушенные дорожной пылью. Вот ближе, ближе они, а как поравнялись с дедом, откинул он веки, ровно и не занавешивал ими глаза. Степашка Попрыкин поспешает куда-то. Рыжую его голову солнце за лето еще подзолотило, и если бы не кепчонка, щурились бы люди при встрече с ним. Всколыхнулась у Федота незатухающая обида, повернулась острым углом и так буравит, так жжет, что не выдержал он. Вон сколько мол-

чал, виду не показывал, а тут не выдержал!

— Зря ты все же сделал тако-то. Подхватила тебя язва, зажгло в этом месте. Или думал: все, Федоту крышка! Дак уж проводил бы честь-то по чести, а потом уж и кумекал самовольно.

Степашка не перебивает, слушает, однако как-то недоуменно таращит на деда свои красивые кроличьи глаза. Когда Федот высказался, Степан еще помолчал, вроде разъяснений ожидал и, не дождавшись, спросил:

— Ты об чем это, дед?

У Федота даже чуть слово дурное не вылетело.

— Об чем, об чем! Об доме твоём, конечно. Не мог, што ли, подождать, как в больнице отбуду? Приспичило ему! Сам, вишь, с усам! Вот и сподобили урода. Изогнулся дом, ровно котенок на лавке, носом под хвост уткнулся. Глянуть тошно!

— Дак, а я-то при чем? Ты с бати спрашивай. Я тогда под стол пенком ходил, какой с меня спрос?

Дед смотрит на Степашку, что-то соображая.

— С какого такого бати?

— Да с моего, со Степана Данилыча.

— Дак, а ты хто есть?

— Ты что, дед? Я сын его, Иван.

— Дак ты Ивашка? Я вас всех, прости, господи, попутал. Ить скажи, одна рожа на всех, — последние слова Федот бормочет тихонько, уже про себя, чтобы не услышал уходящий Ивашка. И вдруг... Нет, погоди, что это за несуразица?!

— Эй, Ивашка, — кричит он вслед, — дак дом-то новый это, когда же срубили?

— Когда? — задумывается тот. — Дак уж лет двадцать-то живем.

У Федота так и захолонуло все нутро. Двадцать лет! Это что же получается — вывалились эти двадцать годов из его памяти! Все попутал старый хрен. С сына за отцовы грехи надумал спрашивать. Новый дом-то уж и не новый. Это что же, выходит, двадцать лет минуло, как в больнице он лежал? А будто на той неделе только было. Навовсе из ума выжил! Он долго еще сокрушается из-за

своей такой оплошки и костерит себя разными нехорошими словами.

Настроение вконец испортилось. Но вскорости вынырнули из ворот напротив Нинка и Муська. Это его всегдашние подружки.

Что-то сегодня припозднились. Нинка сама-то от горшка два вершка, а блюдет сестру, нянькается с малой. Ишь, за руку ведет. Нинка подсаживает Муську на завалинку, взбирается сама и выпаливает деду главную новость:

— Нам маманя сестричку купила!

— На базаре, что ли, сторговала? — деланно сердится Федот. — Ишь ты — купила! У нас, слава богу, давно уже людьми не торгуют. Вещь это, што ли, или овечка? Купила! Родила ваша маманя вам сестру, как все бабы рожают.

Он еще немного ворчит, а потом вздыхает:

— Вот наказание-то: снова девка! Ну, опять задурит ваш отец. — Совсем тихонько: — Глупый он мужик, прости, господи! Ну при чем тут баба, какой с нее в таком деле спрос? Баба — она как земля: что в нее посеял, то и взрастет. Нинка, скажи своему отцу, мол, дед Федот велел придти.

Девчонки, видать, только что с реки. Накупались до пупырышек. Губы синие, и зуб на зуб не попадает. Дед распахивает свою шубейку, и они лезут в нее, шебуршатся там тихоньку и, немного согревшись, вылазят наружу. Муська, как обычно, берется за Федотову бороду. Долго роется в ее чащобе, прокладывая тропинки, проделывая полянки. Выходит старшая сестра девчонок, Ольга, зовет есть. Федот снова остается один.

Солнце уже скатилось книзу, установилось деду в правый глаз, и он поворачивается влево. Скоро пойдут с поля мужики и бабы, затарахтят машины, трактора и мотоциклы, запылят по дороге, замычат сытые тяжелые коровы... Вот уж и пошли. Впереди парни да девчата. Могли бы, конечно, подольше поработать. Куда там! Все некогда: им же кино глядеть да на танцуйках прыгать надо. После парами разбредутся, под утро только угомонятся. А назавтра снова встанут поздношенько.

Ни один не пройдет без поклона. И хоть двумя словечками перемолвится с Федотом.

— Как, Федот Никитич, твой прогноз на погоду?

— Хорошая будет погода, хорошая. Молчат пока ноги, слава богу.

— Приходи седни попожже, Федот. Борова завалим, опробуем свеженинки.

— А чего надумали так рано-то?

— Дак свадьба ж в субботу у Гришухи. Им невтерпёж, вот и мы поспешаем за молодыми.

— Ты, Силантий, че с избой-то молчишь? Протянешь до холодов, а после разворишь, детишек позастудишь.

— Да не, вот чуток управимся — и за ремонт.

— Ну давай, не тяни!

— Как здоровье, дед?

— А на кой тебе мое здоровье? Хорошо мое здоровье. Че с ним сделается, со здоровьем-то моим? Вы бы у себя лучше про здоровье-то поспрошали. Молодые, а тока и знают ко врачихе бегать. А мое здоровье — оно время у других не отнимат. Здоровье ему, вишь, мое понадобилось...

Дед долго еще ворчит, не забывая, однако, отвечать на приветствия. А вон и председатель «газик» замаячил. Федот направляет глаза в другую сторону. Неча на начальство-то пилиться. Оно, начальство, ежели захочет, само поглядит. А не захочет — не шибко-то и надо. Не затужим. Затормозил «газик», вышел председатель, руку деду подал.

— Здравия желаю, Федот Никитич!

— Здравствуй, здравствуй, Иван Дмитрич!

— Глянь-ка, Федот Никитич, на колосья. Как считаешь, когда пшеничка подойдет?

Федот берет в ладонь несколько колосков, бережно ощупывает их, растирает, берет зернышко в рот, закрыв глаза, чтоб не отвлекаться ни на что другое, жует его и заключает:

С недельку еще пущай постоит, сил наберется. Раньше не трогай.

— Вот и агроном наш так считает, — председатель кивает в сторону подкатившей тархтелки. За рулем — Мария. Василий приткнулся на хвосте. Тьфу ты! Федот да-

же сплюнул в досаде. Ни раньше ни позже нечистая принесла! Теперь не быть беседе. Счас перехватит председателя, ругаться станет — там не по-ейному сделали, тут не так повернули...

Когда председателей «газик», почивав, укатывает дальше, Федот набрасывается на Марию:

— Ты хоть бы Вальке платье-то надставила. Ить срам один — здоровая девка, а голым задом сверкает.

— Она вон новое себе сшила, малость подлинней будет, — почему-то смеется Мария.

Когда из ворот выплывает Валентина, Федот непонимающе хлопает глазами. Она в цветастой юбке до пят.

— Ты че это, ровно старуха вырядилась? — спрашивает он правнучку.

— Так сам же говорил, что платье короткое.

— Говорил! Ну, говорил. Дак ить не так же. Этта еще в пляске-то запутаешься да опрокинешься.

— Поддержут! — Валентина хохочет, выскакивает на дорогу, подхватив свою юбку, а там уж важно, медленно идет к клубу.

Мария зовет ужинать.

— Успею! — отвечает Федот и остается сидеть.

Тьма наступает от леса. Сначала она накрывает реку, затапливает кусты на берегу, потом медленно вползает в деревню, крадетса неслышно, льнет к домам, наконец, вступает на дорогу. Еще один день прошел.

Недоволен Федот этим днем. Не доделал что-то. Вспоминает: надо бы с Клавдией до конца довести. Мучается баба, а может, зря. Не ко времени ее Кольку нечистая в город унесла! Ну, ладно, уж завтра-то он запоет как миленький. Нечего юлить, напакостил — отвечай. А нет греха — умеи бабе объяснить...

Надо бы и ему в город съездить, Настасье новый платок купить. Видел он в ларьке базарном чудной красоты: по черному полю огненные маки, а по краям длинные шелковые кисти. Постой, вроде он уже покупал такой ей. Точно покупал. Пусть-ка она наденет его седи вечера, как пойдут они к куму на смотрины — дочку родила кума. Хотя как же это дочку, когда у нее четверо сынов? А, да бог с ней, с кумой. Топор надо проверить, в порядке ли. Завтра с утра избу починают ставить. Степашка Попрыкин приходил с поклонами: «Сделай милость, Федот Никитич, приходи избу новую ставить. А то загостился ты в больнице, а нам жить негде. В старой-то избе Пиратка таперь живет, не жить же ему на улице».

А как же это пойдет он избу ставить, когда ему борова валить надо? Валька замуж выходит...

— Дедусь, пошли-ка домой. На кровати будешь сны смотреть. А сначала поужинай.

Василий с Марией берут под руки обмякшего деда и ведут в дом. На сегодня его дежурство закончено.

Завтра, затемно еще, ему снова заступать на свой пост.

Мэри Кушникова

Прокопьевский мастер и «Пермские боги»

Слово прессе: Год 1968. «Имя этого художника-любителя до недавних пор не было известно в области. Очень скромный человек с легкой судьбой, он не показывался в клубах, не приносил своих работ на выставки... Ныне его работы, показанные с большим успехом на Всесоюзной выставке произведений самодеятельных художников 1967 года, переданы в фонд будущего музея народного творчества нашей страны» («Шахтерская правда»).

«Радостное событие состоялось в Доме художника, радостное и грустное, ведь если бы не преподаватели Народного университета искусств, могло случиться так, что интересный народный мастер оказался бы совсем неизвестным у себя на родине» («Кузбасс» — «Чествование народного мастера»).

Год 1974. «Москвичи сообщают, что в Центральном выставочном зале столицы большим успехом пользуется Всесоюзная выставка самодеятельных художников «Слава труду». Среди многочисленных экспонатов внимание зрителей привлекают работы художника из Прокопьевска, который в своем творчестве развивается интуитивно, опираясь на недюжинное дарование и чутье, и принадлежит к значительной плеяде народных мастеров («Шахтерская правда» — «Мастер»).

Год 1975. «В прошлом году на Всесоюзной выставке самодеятельных художников «Слава

труду», которая проходила в Центральном выставочном зале в Москве, экспонировалась работа прокопчанина — «Автопортрет». Картина получила специальный приз редколлегии газеты «Советская культура» за яркую художественную выразительность и самобытность», — сказал корреспондент газеты Е. В. Кончин, который привез в Прокопьевск и вручил художнику эту награду, а также диплом выставки и памятный адрес». («Шахтерская правда». «Приз газеты — прокопчанину»).

«Прокопьевский художник удостоился почетного приза, — за оригинальность и своеобразие творческих решений. Именно это качество всегда отличало картины прокопьевского самородка на многих международных, всесоюзных и всероссийских смотрах самодеятельного искусства» («Советская культура»).

Год 1976. «Перед рисунками одного из участников выставки «Слава труду», самодеятельного прокопьевского художника, остановились академик живописи Георгий Нисский и известный американский художник Антон Рефрежье: «Вот с кем бы встретиться и поговорить о жизни, об искусстве художника», — сказал американский художник» (Сборник «Цвет и линия»).

Год 1977. «Свое миропонимание, чувство собственного достоинства убедительно выразил в новом «Автопортрете», представленном на



Автопортрет

выставке «Самодельные художники — Родина», сторож И. Селиванов, большой и щедрый талант которого с уважением рассматривали и обсуждали за последние 20 лет на многих выставках выдающиеся мастера и деятели искусства и культуры» (ж. «Декоративное искусство»).

И сюда же: «Ваше творчество стало замечательным явлением в истории самодельного искусства, признано широкой художественной общественностью, любимо советским зрителем, известно и за рубежом по многочисленным выставкам, которые с 1956 года непременно показывали несколько ваших рисунков или картин. В последние годы ваше творчество стало предметом исследования историков искусства, ученых и методистов, о ваших достижениях написан ряд статей и разрабатывается монография. Ваши произведения стали явлением в культурной и художественной жизни страны и ее национальным достоянием» (из юбилейного адреса заочного Народного университета искусств Министерства культуры РСФСР к 30-летию творческой деятельности художника).

Из публикаций об Иване Егоровиче Селива-

нове, прокопьевском художнике, можно составить обширную биографическую или искусствоведческую статью. Мало кто знает, что до недавних пор художник служил сторожем в местном краеведческом музее, откуда был уволен по собственному желанию, по тому самому, которое бывает «собственным» не всегда. Но мы, конечно же, помним, что на последней областной выставке самодельных художников, что состоялась в Кемеровской картинной галерее в начале 1977 года, работы И. Е. Селиванова представлены не были. Удивления по этому поводу тоже не было: Кемеровская картинная галерея никаких работ Селиванова никогда не пыталась приобрести. Все его творчество оказалось сосредоточенным в ЗНУИ (заочный Народный университет искусств), который он окончил. Многие утверждали, что с 1970 года, после кончины жены, художник ничего нового не создает. Другие, в том числе работники Дома народного творчества, говорили, что Селиванов работает, но увидеть у него можно лишь «нестоящие рисунки». Мнения дружно сходились в одном: Селиванов — человек «очень странный», художник же в нем давно угас.

Но обратимся к документам: «Вы представили на выставку юбилейного 1977 года три работы, удивительно свежие, выразительные, заново возродившие присущую вашему творчеству самобытность, черты, обогащенные новыми веяниями и живописными находками» (из письма ЗНУИ к И. Е. Селиванову).

И: «Портрет жены моей Варвары Ларионовны я закончил и вполне им доволен. Он готов к представлению в выставочный комитет» (из письма И. Е. Селиванова, август 1977 года).

Встреча. В Прокопьевском краеведческом музее я спросил, как добраться до улицы, где живет Селиванов. Мне ответили: «Мы там никогда не были». Люди, знавшие художника понаслышке, сомневались: «Еще станет ли с вами разговаривать, — говорят, больно нелюдим». Некоторые говорили с открытой неприязнью: «Как в крепости живет: ишь, поленницу дров сложил, чуть не до неба!».

Привели меня во двор к Селиванову люди, много лет прожившие с его семьей бок о бок,

и своим отношением к художнику начисто опровергшие слова Анатоля Франса: «Как же не ненавидеть соседа, коли он — сосед!».

Он смотрел на меня выжидательно, стоя на пороге добротного деревянного дома, огороженного добротным же забором. В самом строении, и даже в серо-седом цвете дерева — что-то от северных домов-усадеб. (Немного тревожусь — неужели не пустит в дом?) «Да что же ты в дождь-то да в туфельках? Я тебе валенки принесу. Так побрезгуешь, поди?» (Испытывает, что ли?). «А на ту половину не ходи — закрыто там. На той половине моя кошка Варька живет. А мы с тобой тут, на кухне чаю попьем. Картошки вареной хочешь?».

Он сидит передо мной в самом что ни на есть рабочем виде. Длинный холщовый передник. Довольно поношенная меховая безрукавка. Крепкие сапоги. Длинные густые волосы, стриженные «под горшок», и длинная борода. Сидит на фоне неоконченного портрета жены. Всматриваюсь. Какая же неистовая правда в каждой черте! Ни одна морщинка, ни одна слеза, пролитая за долгую жизнь, не забыты. Я думаю: Селиванов написал портрет-искупление. Вокруг головы — еле угадываемое свечение, похожее на нимб. Большие полные руки сложены на коленях. Руки, знакомые со всякой работой. Руки, которые умели быть ласковыми. Эта усталая, пожилая, некрасивая Варвара Ларионовна — прекрасна! Если бы она была жива — осталась бы довольна своим портретом. Потому что, глядя на него, видишь — отслаиваются годы, и бесовские искорки вновь вспыхивают в очень светлых глазах, а за глубокими морщинами на щеках угадываются былые ямочки. А он рассказывает:

«...Это моя животинка, кошонка моя, — видишь, какая ладненькая? Как приду домой, кликну: Варенька. А она из-за двери, из той-то закрытой половины, откликается. И все-таки имя это не умолкает. Все-таки дом-то его не забывает, имя это».

Вот оно! Странность, про которую было слышно. А всего-то — нетускнеющая память. А всего-то непритупленная скорбь об утрате. Не странность, а — необыкновенность! А что до странности... О, этот странный Гойя, стоящий



Портрет девочки. 1943 год.

ночью перед картиной, в цилиндре, на полях которого оплывают свечи — нужно было ровное освещение! О, странный Гоген, пренебрегший комфортной жизнью парижского клерка ради того, чтобы на острове Таити приобщиться к радостям «Земли благоуханной»!

Он сидит у стола, поглаживает разомлевшую «животинку», что примостилась в его картузе. «Видишь, рисовать-то я начал — уже пожилым был. Ладно, заочно хоть окончил Народный университет. А что я знал до того? Всей моей науки — три класса в школе деревни Васильевская, Шинкуринского уезду, Архангельской губернии. Шести лет от отца сиротой остался — хлебнули горюшка с матерью. В 1932 году в Архангельск подался — полтора года учился на рабочих курсах при Потребкооперации. Кем только не был? И слесарил, и кузнечил. Война началась — я на железной дороге служил — сюда направили. И опять — кем только не работал. И грузчиком, и молотобойцем-слесарем в мастерских. Рисовать как начал? А шел домой — стог сена увидел. И так он мне понравился! Все бы на него смотрел. Дай, мол, его изобразу, попробую. А красок нет. Начал карандашом. С того и по-

шло. Потом и за акварель взялся, и за масло. Краски достать трудно, а обратиться, чтобы помогли, сперва неудобно было — сорок лет. Мол, и думать не думал — и вдруг за кисть взялся. А там пообвыкся, ничего, мол, стыдного нет — хочу рисовать и рисую! И уже смело за красками, за бумагой к художникам обращаюсь. Спасибо Шемарову-художнику. Он очень мне помогал. И сейчас тоже краски при-
слаал. Без него, не знаю, — может, и не писал бы. Потому что без красок — как? Потом такое время пришло — остался один. И ничего мне не надо — только бы сидел писал, сколько дня хватает... Пошел в сторожа. Чтобы день, пока светло, свободным быть. Так ведь и учиться еще надо. Институт мой, спасибо, меня поддерживает, потому что учебе разве конец бывает?..

Книг и журналов на столе много: «Рисунок, учебное пособие»; «Портретное искусство второй половины XIX века»; «На пути к творчеству» Р. Закина; «Цвет и линия», сборник статей; журналы «Творчество», «Искусство», «Декоративное искусство». Во многих книгах и журналах написано про Селиванова, репродуцированы его работы.

«А это девчоночка хозяйкина, где я на квартире жил... И это она же».

На одном портрете детский припухлый рот и пронзительный — покажите все до самого донышка! — взгляд детских глаз. На другом — вытянулся клинышком подбородок, уже проглядывает будущая мягкая спелость губ, сговорчивее взгляд, впитавший малую толику окружающих чудес. «Куры»... «Ай, какие это были красивые птицы!» — вспоминает Селиванов. В самом деле, какие же нарядные, рябые, независимые куры окружили голенастую девушку-подростка (не та ли самая?), стоящую на фоне любовно выписанных деревянных стен. Надо очень хорошо знать дерево, чтобы так строго и все-таки сказочно написать тесовые стены, половицы, дверь. И вот еще «Портрет курицы». Пестрая, с коралловым, прямо-таки изысканным гребешком курица-красавица. «Это моя курица, самая любимая!» Художник не писал — «ваял» каждое перышко. Сказано ведь — любимая была «кура». (А с какой ухмылкой-то говорили мне: «Рябая курица в доме

живет, кошка какая-то пегая...») Да, и «Пегая кошка» тоже в книге репродуцирована. Сидит, аккуратно обвив хвостом чинно сдвинутые лапки. Она очень напоминает лубочную русалку-берегиню и еще пышнолицую и строгую молодайку. «Я с ней, как с тобой, говорю, а она в глаза смотрит — все разумеет и даже когда и отзовется по-своему, — уверяет художник. И еще смотрит из книги — глаза в глаза — мудрая старая собака. У собаки своя история: «Это Волчок, моего соседа, Ивана Баламутина, сторож. Зря я цепь не нарисовал. Пожалел. Думаю, пусть хоть на картинке-то без цепи посидит. А потом увидел — такие глаза у собаки бывают только когда на привязи. А когда она свободная, с чего ей обижаться и тужить?..» Уставился на меня Волчок своими несобачьими глазами, вставленными в костистую песью морду. Может, через эти удивительные глаза Селиванов увидел под собачей шкурой неположенные для животного чувства, например, обиду на человека? Или сожаление о жизни, прошедшей «на цепи»? Иван Егорович — не раб анатомии. И потому мы видим, как Волчок сидит боком, хотя голова, грудь, лапы даны «с лица». Это «боком» не случайно. Без неуклюжей и рыхло сгорбленной спины с тяжелой холмой старая собака не получилась бы. Репродуцирован и селивановский «Обоз». Тянется причудливой дугой по снежной белизне. Есть что-то от чистоты и изощренности рисунка японских гравюр в этом «Обозе», впрочем, так же как и в «Портрете курицы-красавицы». Но все-таки еще более — от лаконичности северной гравировки по моржовому клыку. Надо ли удивляться?..

«Пермские боги». Северянин он. И север унес с собой, впитал в себя. От него — строгость, от него — яркость. И — монументальность. Особенно в его автопортретах. Когда он буднично говорит: «Это я сам, не то сорока, не то более лет» об автопортрете в железнодорожной фуражке, — он совсем и не думает, что среди сокровищ «Пермских богов» второе столетие бытует его аналог — только из дерева резанный, с такой же пластичной лепкой лица, с тяжелыми и четкими надбровными дугами, с плотными массаами (иначе не скажешь!) волос бороды и усов. Сравниваю две фото-

графии: пермские скульптуры и автопортрет. Если бы я не знала, что автопортрет — «бумага, акварель», подумала бы — резанный. И, уловив эту сходность видения, осознаю: она же во всех изображениях людей у Селиванова. Шестидесятилетний Селиванов глядит исподлобья с автопортрета 1967 года — здесь еще более означена «складчатость» лица, иконописная условность и, вместе с тем, предельная, обнаженная правда. «Автопортрет» Селиванова, что экспонировался в Суздали, конечно же, чувствовал себя вполне на месте в древнем городе. Резные «сосульки» волос, мягкие — но деревянной мягкости! — складки одежды, истовый взгляд, поднятая рука — не то чтобы кисть взять, не то чтобы зрителя поприветствовать, а может, предостеречь — они опять-таки из Пермской сокровищницы народной деревянной скульптуры. Могу поручиться, что Селиванов «Пермских богов» не видел. Но, очевидно, такая же жизненная мудрость и образность видения присуща была и неведомому Ивану Пермскому, что «сотворил» своего мужичка, так напряженно сидящего — не гордо, но с достоинством. Мужичка, что приложил к груди руку, привыкшую к сохе. Мужичка, которого пермский мастер почему-то облек в мифический терновый венец и нарек богом. Я точно знаю, что Селиванов никогда не видел круглощекую, причесанную на прямой пробор, по-крестьянски большерукую Параскеву Пятницу из пермского «божественного» паноптикума. Но «Портрет соседки» — «той, что горела, и мы ей строиться помогали» — Параскеве Пятнице прямая родня. Потому что, наверное, и пермский мастер свою Параскеву резал, держа в памяти какую-нибудь соседку-горемыку, и тоже одарил ее непокоренными, пронзительными зрачками (живы будем — не помрем!), как и Селиванов свою погорелицу.

Это сейчас, когда я не спеша сравниваю фотографии с фотографиями, можно сопоставлять и искать общие закономерности. А когда я сидела у Селиванова и рассматривала репродукции с его картин, ощущение «знакомости» подтверждал только удивительный еще незаконченный портрет Варвары Ларионовны, которая все время присутствовала и даже как будто участвовала в нашей беседе.



Мария Ивановна Наговицина, работница шахты Коксовая-1

Истоки пуантилизма. Манеру и почерк художника я изучала, имея в распоряжении только один портрет. Чем больше смотрела — тем больше удивлялась. Откуда этот диковинный сплав скульптурной монументальности и зыбкого, похожего на сказочное марево, трепетания мельчайших штрихов, — если бы не парадокс, сказала бы: «горизонтально вытянутых точек»? Откуда разновидность пуантилизма (который кажется естественным у импрессионистов Сислея, Моне, Кросса, Писарро) в колористических приемах прокопьевского самодельного художника Селиванова? Впрочем, разве пуантилизм — находка французов? Разве я не видела в росписи по фарфору двухсотлетней давности нежнейшее перламутровое мерцание, которого крепостной художник Андрей Черный добивался единственно с помощью «точечной росписи» (от интенсивности и частоты точек зависели свет и тень, насыщенность цвета), и разве я не прозвала Андрея Черного для самой себя «отцом пуантилизма»? Может, этот технический прием — исконная традиция, правомочно подхваченная самобытным художником Селивановым?..

«Нестоящие рисунки». Читатель может резонно заметить: речь шла только о картинах, которые автор очерка видел лишь в репродукциях (а разве не устраивает Кемеровская картинная галерея серьезные выставки из факсимильных репродукций?). Показал ли художник хотя бы те «нестоящие рисунки», которые он, говорят, сейчас делает? Показал. Некоторые сделаны с натуры. Некоторые — по памяти. Иные — по памяти особой. Именно «по памяти сердца» сделан в карандаше портрет ленинградского режиссера Михаила Сергеевича Литвякова. «Это он меня в 1968 году заснимывал для кино «Люди земли Кузнецкой» — теперь, говорят, большой человек стал, лауреат международной премии, и даже бородку отпустил!». У Литвякова квадратное, тяжеловатое лицо. Резными кудерками прописаны волосы (о, «Пермские боги»!). «Портрет Марии Ивановны» — соседка, что погорела и на квартире у Селиванова стояла. Может, так выглядели русские женщины у пепелища после нашествия? Может, именно с них, таких вот, писали своих скорбных мадонн иконописцы? И, наконец, «Спартак». Этаким русский мужичок, с древней фрески сошедший, в памяти Селиванова осевший, через видение его преломленный, — неистребимо российский, тот самый, что стоял «на смерть» и в 1812-м, и в гражданской войну, и в Великую Отечественную, — нипочем не сдамся! — и еще потешался над своими казнителями: «На-кося, выкуси!»

Хорошо-то как, что никакая наспех изученная анатомия не убила в Селиванове народное чутье! Надо ему изобразить героев из любимого кинофильма «Санха» (любит иллюстрировать свои впечатления от фильмов!) — и вот маслянистыми волнами «оплывают» складки одежды, вздыбились округлые бугорки — это «чешуйками» легли волосы: И вот — поворот головы резкий, через плечо глядящий — фронтально взятое лицо посажено на полупрофильное туловище. Нарушены все правила — перечеркнута анатомия. Но почему именно это сокрушение канонов убеждает во внезапности и порыве движения? (Не оттого ли так воинственно выглядит всадник-«жолнер» на гуцульских «кафлях» XVIII века, что художник без колебания заставляет его размахивать саблей,

вложенной в руку двойной длины?). А вот сидит сосредоточенный, покладистый мужичок-трудяга. И не знай я, что это «батка мужа Санхи, свекор то есть», сказала бы: украинский деревенский сапожник. Селиванову именно надо чтобы — «трудяга». Потому он на уровень живота посадил этому «бате» огромную руку. Кисть — величиной чуть не с голову. И даже не кисть, а так — два пальца всего. На них угловатые квадратные ногти, дубленая кожа складками... Не будь этого вопиющего сокрушения правил анатомии — еще получился ли бы задуманный художником покорный, но упорный работяга-бедняк?

Песнь дерева. «Настоящие рисунки» покоряют не только точечной манерой, еще более подчеркнутой в графике, но и своим «деревянным» колоритом. Если человек любит дерево — с детства видел резные наличники окон, утварь, прялки; если ничего прекраснее дерева не знает — с детства слышал, как певуче звучат у северных художников холодноватые яркие краски на глухой бархатистости расписных донцов и веретен, и если такой человек возьмется за кисть или карандаш — он будет писать именно так. Он найдет именно этот колорит — глухой и теплый, неброский и все-таки нарядный. Я бы хотела иметь в своем доме «нестоящие рисунки» Селиванова: от них бы в комнате запахло свежей деревянной стружкой.

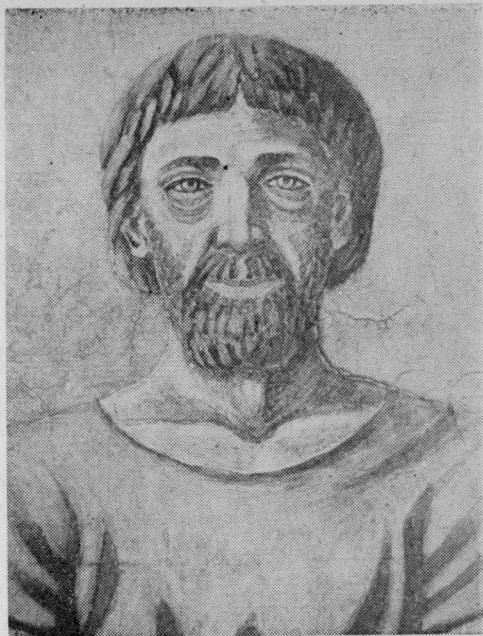
Уходя, еще раз листаю книги и журналы. Из журнала «Творчество» выпала телеграмма. Читаю: «Глубокоуникальный Иван Егорович приеду вам 5 июня днем. Кандидат философских наук Голованов». Это московский ученый Виталий Анатольевич Голованов, консультант журнала «Коммунист», прибыл в Новосибирск и оповещает Селиванова о предстоящей встрече. Он специально едет, чтобы познакомиться с художником и заснять его работы, поскольку в книгу, которую готовит, намерен включить главу об Иване Егоровиче.

О встрече с Головановым Иван Егорович рассказывает скупое. И несколько иронично. Он вообще склонен иронично говорить о себе и о своей работе. Мало кому из окружающих показывает картины и рисунки. Не скрытен, а скромный. Глядя на то, как соседи (они все время

приходили, уходили, принимали участие в нашей беседе) жадно разглядывают рисунки и грамоты, которые я с трудом заставляла его показывать, вновь слышу отзвуки почти заглушенных мнений «понаслышке». Когда московский корреспондент Кончин вручал ему приз газеты «Советская культура» и большой ящик с красками, Селиванов якобы сказал: «Это правильно, но не ради меня, а заради труда моего столько хлопот на себя взяли, и даже ко мне приехали». Пусть же забудутся суетные слова. Мастер, уважающий свой труд, это и есть истинно народный мастер!

Не знаю, что сказал бы Антон Рефрежье... Мы не беседовали с Селивановым об искусстве, и Антону Рефрежье не пришлось бы завидовать, что кому-то удалось «поговорить с этим интересным мастером о жизни». Я думаю, что когда Селиванов говорит: «Мастер должен черпать материал для своей «продукции» в обществе, в котором живет, а общество богато многими мыслями, чувствами и делами. Только они заложены в разных отдельных людях. Если мастер не имеет подхода к человеку, он не добудет материала для творчества. Будь он хоть самый золотой мастер — ничего полезного для ВСЕГО общества он не сделает, если не заглянет в душу ОДНОГО человека», — я думаю, что это он говорит об искусстве. И когда он пишет в письме: «Какие у вас чувства, обстоятельства и рабочие планы, то есть чем вы будете заниматься? Вы не волнуетесь? Если не волнуетесь — обождите. Без волнения нет никакого дела» или: «Отношение вашей личности к моей — очень важная часть работы», — я думаю, это он размышляет о жизни.

Ухожу. Вслед идет кошка Варька, гордо взметнув хвост, а взглядом провожает меня с портрета Варвара Ларионовна. У калитки с Селивановым постояла. «Дров, видишь, сколько запас? Я так думал: пока есть силы — на два-три года запаса, мол. А там видно будет, — может, еще нас снесут». «А хотели бы в новую квартиру переехать?» — спрашиваю. «Как тебе сказать? Тут у меня Варенька шуровала, куда отсюда пойду! Да и люди свои кругом. Сколько лет рядом живем!» «Ничего, Егорыч, — говорит соседка побойчей, — если снесут,



Спартак

так всех разом. Мы в один дом попросимся!».

Парадоксы. Ухожу. Знаю, что чего-то очень важного не постигла, и мною не понято до конца — что за явление прокопьевский сторож Селиванов. И лишь потом, листая альбом репродукций и вспоминая «Пермских богов» в натуре, вдруг пойму: Селиванов-живописец все-таки прежде всего — прикладник. Родство между пермской деревянной скульптурой и его графикой вовсе не случайно. Так же не случаен поразительный сплав графичной условности и реализма в его творчестве, так что хочется назвать его манеру уж вовсе парадоксально: декоративный реализм. Ведь Селиванов самобытный художник. Народный. Самодеятельный. Такие художники чаще встречаются в прикладном искусстве. Применительно к народным талантам определения «мастер», «умелец» более обычны, нежели «живописец». Народный талант — есть прежде всего «умение». Рука народного умельца привычна к тяжести глины и дерева, к весомости предметов. И, очевидно, в

отличие от художника-профессионала, который подсознательно ощущает, что изображает не самого человека, а лишь его облик, отпечатанный в его собственном сознании (как бы абстрактную идею человека!), самобытный художник тоскует по осязаемости своей «продукции». Он не изображает, а «воспроизводит» человека. И при этом выбирает способ прикладного воспроизведения, который ему наиболее близок. Не случайно же крепостные девушки-рукодельницы славилась вышивкой по холсту и канве толстым, пушистым шнуром — «синелькой». Они не просто изображали букеты, а как бы создавали натуральные объемные цветы. Не вышивали, а «лепили», выкладывали живые, мягкие, рельефные лепестки. Наша современница украинская народная художница Екатерина Белокур писала свои знаменитые цветы так, что порою не скажешь — живопись это или вышивка. А Селиванову и выбирать было нечего; дитя деревянного Севера, любовь к резному и расписному дереву он несет в крови, и живопись его «лепкая», скульптурная, «умельческая».

Я беседовала о Селиванове со многими: хотелось узнать, созвучны ли компетентные мнения с представлением, которое я себе составила о художнике. Литературная общественность и художники области с уважением отзываются о творчестве Селиванова и не сомневаются в значимости его не только во всесоюзном масштабе — оно вполне достойно и Кузбасса тоже! Отсюда: почему бы не издать хотя бы комплект открыток (лучше альбом, буклет) с

репродукциями работ Селиванова, находящихся в ЗНУИ?

Еще хочу напомнить: портрет Варвары Ларионовны закончен и ждет доступа на выставку. Почему бы не закупить его в Кемеровскую областную картинную галерею? В заключение с горечью возвращаясь к публикации в газете «Кузбасс», где вполне резонно задан вопрос: «Кто возьмется организовать персональную выставку И. Селиванова — областное управление культуры, Кемеровское отделение художников или областной Дом народного творчества? А такую выставку необходимо организовать и широко показать трудящимся области творчество народного умельца» («Чествование народного мастера». «Кузбасс», 17 сентября 1968 г.).

Прошло десять лет, а вопрос этот — увы! — остался в силе. Сейчас организовать такую выставку, наверное, намного труднее, чем было в ту пору: пришлось бы затребовать работы Селиванова из ЗНУИ, просить о передвижной выставке. Но если работы его фигурировали уже не один раз на международных выставках, то, очевидно, путь в Кемерово окажется не более долгим и трудным, чем, например, путь в Лондон, где в 1977 году находились несколько из виденных мною репродуцированных работ. На пестование самобытного таланта Селиванова в Кузбассе затрачено не так уж много усилий. Так, может, хоть сейчас не стоит скупиться, — и хотя бы ПОЖАТЬ плоды этого народного таланта.

Анатолий Сосимович

Время платить долги

1. ЧТО МОЖЕТ ЕГЕРЬ

Лось шел правой стороной длинного лога, по которому протекала небольшая речушка, а мы шли за лосем. Шли уже давно, от солонца, что почти у самой деревни. От него в разные стороны расходились лосиные следы, так хорошо видные на свежем, осеннем снегу. Гусельников почему-то выбрал именно этот след, хотя он ничем не отличался от десятков других, оставленных зверями, проходившими ночью к солонцу, чтобы полакомиться солью и попить из скважины воды, которая немного отдает сероводородом и потому так любима обитателями тайги.

Гусельников пошел косогором, захламленным сусняком, выворотнями, часто пересекаемым короткими, но крутыми логами, а мне посоветовал идти берегом речушки, правее лосиного следа. Дескать, горожанину там полегче, а ему, егерю, не привыкать.

Шел он легко, споро. Небольшой, плотно сбитый и ладный, егеря таким колом перекашивался через лесные завалы, бодро и быстро спускался в овраги и поднимался из них, время от времени оглядываясь на меня и ободряюще помахивая рукою или показывая, куда заворачивает след и куда мне нужно пойти. Все это делал молча — говорить нельзя: зверь где-то впереди.

Угадал место лежки лоса (как? сказать не могу), вдруг остановился, предостерегающе

поднял руку, дал понять мне, что пойдет в вершину распадка, а я должен обойти густой пихтач, что темнел чуть выше по ручью, с подветренной стороны, и ждать там. Потом — осторожно двигаться навстречу ему. Не все я сделал так, как нужно было. В пылу охотничьего азарта, видно, слишком поторопился и подшумел зверя раньше времени. Увидел я лоса метрах в двухстах от себя. Он поднимался по противоположному склону распадка, круша копытами мелкий густой осинник...

Подошедший Алексей Иванович по моему виноватому виду сразу понял, что произошло, ободряюще улыбнулся:

— Не огорчайтесь. Сегодня ушел, завтра — наш будет.

По логам уже начала сгущаться предвечерняя синева, с низкого неба посыпал редкий снежок. Решили, что на сегодня хватит. Мы выбрались из тайги на дорогу. И тут Алексей Иванович быстро глянул на меня, неожиданно предложил:

— Хотите посмотреть мое хозяйство?

Когда я в ответ промямлил что-то о наступающем вечере и длинной дороге, он, усмехнувшись, заметил:

— Это все по пути будет.

А что, это даже интересно — посмотреть, что может егеря, тем более этот. Гусельников, как я уже знал, много лет проработал в геологоразведке, егерем стал почти случайно: партия перебазировалась очень далеко от Еруна-

кова, и ему не захотелось оставлять родной деревни. Уже через несколько минут он подвел меня к великолепной кормушке для лосей. Она была двухъярусной: первый ярус — своеобразный полок, на котором лежали крепко посоленные мелкие ветки осины и сено, а второй — крыша, чтобы осенние дожди не мочили, а зимой не засыпало корм снегом. Кормушка была сделана под сенью больших пихт, на краю лесной полянки, поросшей мелким осинником. Снег вокруг кормушки притоптан лосями, верхушки молодых осин обкусаны.

Потом Гусельников показал мне еще несколько таких кормушек. Правда, к некоторым из них лоси подойти не могли: кормушки были ограждены жердями.

— Вот снег поглубже ляжет, тогда ограду уберу, — говорил Алексей Иванович. — А то поедят запасы раньше времени. Сейчас еще корму для лося — сколько хочешь.

Показал Гусельников многочисленные солонцы для лосей и зайцев. Соль лежала или в корневниках старых пней, или в углублениях, очень напоминающих корыта, выдолбленные в сваленных деревьях, или в специально сколоченных ящичках рядом с водопоями. Возле солонцов — многочисленные следы пребывания лесных обитателей. Сознаюсь, что за многие годы скитаний по тайге с ружьем и без него тогда я впервые увидел такое.

Все егери, каких я знал, главной своей задачей считали охрану угодий от браконьеров; ну иногда помогали охотникам при отстреле лосей, а вот о биотехнических работах понятия не имели. И это считалось вполне естественным, правомерным. Даже в сознании людском сложился стереотип егеря: крепкий, прокаленный зимними ветрами и летним солнцем здоровяк, который неумоимо гоняется за браконьерами и чуть ли не ежедневно вступает с ними в отчаянные схватки, из которых всегда выходит победителем. А тут передо мною предстал человек, похожий на обыкновенного крестьянина, и заботы у него совсем крестьянские: готовит корма, строит кормушки, озабочен подвозом соли. Почти никакой романтики, сплошная проза. И чем дальше, тем больше появляется таких егерей, как Гусельников.

Настоящими рачительными хозяевами, с лю-

бовью относящимися к своей нелегкой работе, слывут егери З. Т. Сидоренко из Николаевского, В. А. Саболевский из Сидоровского, С. И. Искуль из Тутуянского охотхозяйств. Ловят они, конечно, и браконьеров (обязаны ловить), но большую часть времени отдают строительству кормушек, устройству галечников, порхалищ, солонцов, заготовке кормов. Неделями не выходят из тайги, когда идет учет промысловых птиц и зверей. Без преувеличения можно сказать, что благодаря этим людям не скудеет окончательно наша тайга. Знакомство с такими егерями утвердило меня во мнении, что не столько в грозном охраннике нуждаются наши охотничьи угодья, сколько в заботливом хозяине.

Но вместе с этим пришло и понимание того, что одним егерям, даже очень хорошим, без участия охотников и рыболовов, руководителей промышленных предприятий, работников лесной промышленности, колхозов и совхозов не под силу по-настоящему наладить воспроизводство охотничьей фауны.

Как бы ни работал егерь, как бы ни старался, он, в сущности, не может активно влиять на увеличение численности животных. Он может только сохранить обитателей тайги, да и то не всегда. Скажем, число дичи вдруг уменьшилось в результате неблагоприятных погодных условий или стихийного бедствия? Что может сделать егерь? И что может сделать общественность?

Вопросы эти сегодня встанут во весь рост, требуя неотлагательного решения. Тем более, что влияние бурно развивающейся промышленности на природу возрастает, и становится все сложнее решать задачи воспроизводства фауны наших лесов.

Если говорить всерьез, то до сих пор в Кузбассе все, кто призван беречь и умножать промысловых птиц и зверей, идут по наиболее легкому пути. Кое-как наладили охрану того, что есть в лесах и полевых угодьях, да делают робкие попытки в проведении биотехнических работ, способствующих воспроизводству дичи. Заметьте: способствующих, а не активно влияющих. К тому же биотехника, даже в лучших хозяйствах, в основном сводится к устройству солонцов да заготовке веников. Вкладывается

В эту работу минимум сил и средств, так как ведется она главным образом только егерями.

О размерах и размахе биотехнических работ можно судить на примере Новокузнецкого общества охотников и рыболовов: за 1977 год (ниже будут приводиться цифровые данные того же года) общество израсходовало на эти цели 2,8 тысячи рублей. Много ли можно сделать на такую мизерную сумму? По отчету за второй квартал силами пяти тысяч членов общества и 19 платными егерями было построено всего 18 навесов и посеяно 11 гектаров зерновых для подкормки птиц и зверей. Как говорят, ешь — не хочу.

Общество ни разу не выполнило план по трудовложениям (так официально называется обязательное участие охотников и рыболовов в биотехнических работах). За год его выполнили только первичный коллектив Западно-Сибирского металлургического завода, а крупные организации Кузнецкого металлургического комбината и «Кузнецкий» выполнили этот план — соответственно на 24 и 18 процентов. За первую половину года в угодьях общества охотники должны были отработать 7 тысяч человеко-дней, фактически отработано только около 2 тысяч.

Я уже говорил, что многие егери и первичные охотничьи коллективы основной своей функцией считают охрану угодий и контроль за соблюдением правил и сроков охоты. Но и эта работа ведется из рук вон плохо. Чтобы доказать правомерность такого утверждения, обратимся к отчету, представленному Новокузнецким обществом правлению Кемеровского областного общества охотников и рыболовов.

За первое полугодие 1978 года 19 штатными егерями и членами общества составлено 49 протоколов на злостных браконьеров. Прямо скажем, немного.

Может быть, браконьер выводится, «вымирает»? Ничего подобного! По-прежнему весной и летом гремят в тайге и на водоемах выстрелы, по-прежнему браконьеры во время нереста ловят рыбу сетями и сачками. В Новокузнецке в черте города во время месячника тишины на водоемах, когда даже удочкой было запрещено пользоваться, сотни рыболовов сидели со своими снастями по обоим берегам Томи и

Кондомы и никто их не тревожил — ни экспедиция рыбоохраны, ни правление городского общества охотников и рыболовов, ни работники милиции.

Интересная, о многом заставляющая задуматься деталь: за минувший год работниками внутренних дел Новокузнецка и Новокузнецкого района не составлено ни одного протокола на браконьеров, по инициативе милиции не возбуждено ни одного уголовного дела против них.

И еще. По долгу службы охраной охотничьих угодий должны заниматься и работники лесного хозяйства. Но в областном обществе охотников и рыболовов не могут припомнить ни одного случая, когда бы лесники задержали браконьера (имеются в виду, конечно, не самовольные порубщики). А вот случаев, когда лесники сами выступают в роли браконьеров, когда сквозь пальцы смотрят на нарушения правил лесопользования, приносящие огромный вред фауне Кузбасса, — сколько угодно. Но подробнее об этом — позже.

Эти примеры, на мой взгляд, достаточно убедительно свидетельствуют о том, что биотехнические работы и постановка охраны промысловых птиц и зверей в области требуют значительного расширения и улучшения. В том состоянии, в котором находятся сегодня, они не могут заметно влиять на увеличение продуктивности охотничьих угодий. А это значит, что настала пора начать перестройку всей организации спортивной охоты и рыбалки, настала пора не только брать от природы, но и давать ей. Нужно переходить к активному разведению птиц, зверей, заниматься рыбоводством. Думается, что для этого найдутся и силы, и средства. А опыт уже есть. Умелое использование его может значительно облегчить решение, прямо скажем, довольно трудной и сложной задачи.

2. ИНОГО ПУТИ НЕ ДАНО

Мы с гордостью, к примеру, говорим о том, что в кузбасской тайге в последние годы стало много рябчиков — исконно сибирского объекта спортивной охоты. Очень хорошо! А в чем

Здесь заслуга людей? Разве только в том, что перестали опылять тайгу дустом, борясь с клещом, да немного стали следить за соблюдением сроков и правил охоты. А в остальном, можно сказать, все легло на плечи самой матушки-природы. И она, как всегда, когда ей не мешают особенно сильно, хорошо заботится о себе, исправляет ошибки человека, допущенные по незнанию, а больше всего по небрежности.

Как в связи с этим не вспомнить пророчески звучащие сегодня слова большого русского поэта Ф. Тютчева, который более ста лет назад писал:

Не то, что мните вы, природа.
Не слепок, не бездушный лик:
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Мы часто забываем и о душе природы, и о ее внутренних законах, а забвение приводит иногда к таким ошибкам и последствиям, что на исправление их уходят многие годы. Наглядное свидетельство тому — судьба перепела в Кузбассе. Часто ли слышат охотники на утренней или вечерней заре немудреное, но такое дорогое сердцу русского человека «пить-полоть», «пить-полоть» перепелки или страстное «шавканье» токующего перепела-самца? Задал я этот вопрос, хотя заранее знал ответ на него: не стало перепелов давно, не бродят в конце лета и ранней осенью по кромкам хлебных полей охотники-перепелятники с подружейными собаками, не вспархивают из-под их ног многочисленные выводки. Кто виноват в этом?

Мы, люди, виноваты. Это из-за нашего недомыслия из года в год гибли перепелиные выводки от гербицидов, распылявшихся для прополки посевов, попадали под ножи жаток, комбайнов во время сенокоса и жатвы. И только потому, что никто из нас не заботился о том, чтобы гербициды были такой концентрации, которая не вредила бы птице, а только убивала сорняки, чтобы оборудовать жатки, косилки и комбайны отпугивающими устройствами, а хлеба косить не от краев к центру поля, а от центра — к краям.

А водоплавающая дичь? Утка, например, держится только в пойме Томи, на ее стари-

цах, в районе Шестаковских болот да на озерах Антибесского заказника. Правда, в последнее время утиные выводки появились на многих прудах, созданных предприятиями, колхозами. Но сказать, что мы уже восстановили численность утиных стай хотя бы до довоенного уровня, даже самый отчаянный оптимист не осмелится.

И вот что любопытно. На перепела охоты в нашей области практически нет уже, как минимум, добрый десяток лет, охота на утку ограничена несколькими днями в году, а численность уток не восстанавливается. Вот уже и не может мать-природа своими силами залечить раны, нанесенные людьми. Она ждет нашей помощи. Но помощи не пассивной. Речь должна идти, прежде всего, не о новом усилении охраны и упорядочении сроков охоты, нормировании отстрела или полном запрещении охоты на перепела и утку, а о создании у нас своеобразных перепелиных и утиных ферм сначала в крупных, а со временем — во всех охотничьих хозяйствах.

Знаю, эти строки вызовут у многих любителей природы, охотников и особенно у руководителей охотничьих коллективов скептическую улыбку. Дело в том, что очень уж мы сжились с мыслью: спасение природы — дело «рук» самой природы. А наше дело — не мешать ей в этом. Не оттого ли так малы средства, вкладываемые обществами в биотехнические мероприятия, не оттого ли мы так отстали в воспроизводстве охотничьей фауны от многих краев и областей страны?

Чтобы убедить скептиков, сошлюсь на некоторые общеизвестные факты.

В Менском районе на Украине, например, построили фазанарий, который ежегодно выпускает в охотничьи угодья более четырех тысяч молодых птиц. Здесь же в приписном охотничьем хозяйстве создали утиную ферму, которая в 1977 году дала более 5200 утят, часть которых была выпущена в охотничьи угодья, часть передана для расселения в другие области, а 300 птиц пополнили маточное стадо фермы.

Почему бы и нам не заняться подобным делом? Разве не могут, например, первичные коллективы Западно-Сибирского металлурги-

ческого комбината взять на себя роль пионеров в организации утиных ферм? Для этого у них все есть. Нужно только желание. Убежден, что и руководители предприятий поддержат. Кстати, в соответствии с решением ВЦСПС они могут выделять за счет средств, отпускаемых на социально-культурные мероприятия, некоторые суммы на укрепление материально-технической базы первичных охотничьих коллективов. Важно только разумно, по-хозяйски распорядиться этими средствами.

Разумеется, строительство хорошо оборудованных ферм — дело времени, а сейчас первичные коллективы, в охотничьих хозяйствах которых есть угодья для водоплавающей дичи, могут без особых затрат создать свои простейшие утиные «фермы». Например, для этого в ряде хозяйств Новосибирской области (обратите внимание: Новосибирской, где уток всегда было хоть пруд пруди да и сейчас значительно больше, чем в Кемеровской) выбирают наиболее пригодный водоем и полностью запрещают на нем охоту, а весной, когда идет кладка яиц и их насиживание, — и всякую хозяйственную деятельность. Отсюда выводки расселяются в ближайшие водоемы. А чтобы быстрее увеличить число птицы, весной в таком резервате делают как можно больше искусственных гнезд, отбирают из них яйца. Утка делает повторную кладку. А собранные яйца инкубируют, выращивают птенцов и выпускают их в охотугодья. Таким образом маточное поголовье уток становится вдвое продуктивнее.

Конечно, говорить об этом проще, на деле же все будет много сложнее, но, думается, при заинтересованном подходе к решению проблемы успеха достичь можно.

Есть также смысл некоторым крупным районным и городским обществам охотников и рыболовов заняться созданием и перепелиных ферм. Адреса таких ферм в нашей стране известны, затраты на них окупаются сторицей. Кстати, Новокузнецкое городское общество в свое время выдвигало такое предложение, но оно не нашло поддержки в правлении областного общества. А жаль.

Правда, сейчас среди кузбасских охотников и рыболовов, общественности, причастной к

охране природы, идея более активной работы по воспроизводству фауны получает все более широкую поддержку, а кое-где она уже превращается в практические дела.

Председатель Новокузнецкого городского общества охотников и рыболовов А. В. Рязанцев рассказывает:

— Мы понимаем: пришла пора переходить к дичеразведению и рыбоводству. Правление уже делает кое-что в этом направлении.

Во-первых, мы решили завести из Алтайского края в район деревни Красулино, где наиболее подходящие для этого угодья, зайцарусака. Думаем, что он у нас приживется и быстро размножится: климат и природные ландшафты наших мест мало чем отличаются от алтайских. Во-вторых, начинаем серьезную работу по рыбоводству. Нам передано несколько водоемов (это в основном пруды), в которые осенью запустим молодь ценных пород рыб — карпа, пеляди. На речках Большой и Малый Узунцы строим пруды на свои средства. Создадим там базу крупного рыбоводного хозяйства. Конечно, рыбалка на этих водоемах, когда мы ее разрешим, будет платной, доходы пойдут на дальнейшее расширение и укрепление базы.

Не отказались мы и от мысли создать перепелиную ферму, а кое-кто настаивает на том, чтобы построить хозяйство по разведению норки. Что выберем? Об этом надо серьезно подумать, взвесить все за и против.

Так что, лед тронулся? Видимо, пока об этом говорить еще рано. И вот почему. Если рыбоводством в области занимаются многие первичные коллективы охотников и рыболовов, предприятия и организации, колхозы и совхозы, то за разведение промысловых зверей и птиц не берется пока никто. Звероводы-надомники, которые разводят нутрий, песцов, чернобурых лисиц — не в счет: они не делают погоды. До сих пор, например, госпромхозы, которые больше чем кто-либо эксплуатируют охотничьи угодья и добывают основную массу дичи и пушного зверя в тайге, очень мало делают для того, чтобы восстанавливалось и умножалось число промысловых птиц и зверей. Они принимают участие в расселении некоторых видов промысловых животных, а вот

дичеразведением и рыбоводством практически не занимаются, средств на проведение элементарных биотехнических работ выделяют очень мало, да и то не всегда эти средства расходуются по назначению.

Для перехода к активному воспроизводству дичи необходимы и время, и средства, и большая организаторская, разъяснительная и воспитательная работа обществ охотников и рыболовов — всех, кто причастен к этому важному государственному делу.

3. ТАЙГА-КОРМИЛИЦА

Писатель Лорен Айсили в книге «Неожиданный мир» заметил: «Тело человека — это волшебный сосуд, однако его существование связано с элементами, которые он сам производить не в состоянии. Только зеленые растения «знают» секрет трансформации лучей, идущих к нам из бескрайних просторов вселенной». Прекрасные слова, прекрасна мысль, заложенная в них! И если попытаться применить ее к теме этой статьи, то можно сказать, что все наши усилия по охране и воспроизводству животных и птиц, ставших ныне в силу разных причин малочисленными, будут бессмысленными, если при этом не будет сохранена нами среда обитания, дающая животным и птицам и кров, и корм, и «знающая» секреты трансформации солнечных лучей. Известно, что стоит как-то изменить среду — вид животных или птиц, приспособленных именно к этой среде обитания, погибнет. А это значит, что сегодня охрана и воспроизводство животного мира невозможны без усиления работы по охране и воспроизводству наших лесов и полей, озер и рек.

В Кузбассе — крае тяжелой индустрии — проблема сохранения среды обитания стоит особо остро. В общем и целом она решается успешно. Вот уже несколько лет подряд лесов мы больше садим, чем рубим. И каких лесов! Только, например, Таштагольский лесхоз ежегодно засаживает площадь в 700 гектаров сеянцами кедра сибирского. Ежегодно выращивается, как говорят лесники, три миллиона стандартов сеянцев. Ими обеспечиваются Новокузнецкий леспромхоз, Шерегешское лесоза-

готовительное предприятие, несколько лесхозов.

Приятно сознавать, что в Яшкинском районе, где очень много кедров, наконец-то закладывается специализированный питомник по выращиванию посадочного материала кедра сибирского. На его строительство выделено три миллиона рублей. Питомник займет 250 гектаров и будет давать 20 миллионов саженцев и сеянцев в год. Это означает, что если за 2 года пятилетки в области кедр был высажен на площади 9,6 тысячи гектаров, то в скором будущем темпы восстановления кедровых угодий утратят. А там, где сегодня поднялись молодые кедровые леса, — лучшие места для белки, соболя, медведя, рябчика, тетерева и другой боровой дичи.

Доброй славой пользуется коллектив Новокузнецкого опытно-показательного лесхоза, который под руководством главного лесничего, кандидата биологических наук Л. П. Бараника ведет большую работу по восстановлению лесов и рекультивации земель, нарушенных горными разработками. Одна Красулинская сосновая дача чего стоит! А на горных отводах вокруг Новокузнецка растут не только сосны, но и алтайская облепиха. Примечательно, что в молодых лесах и кустарниках уже прижились зайцы и куропатки...

Вот что, например, рассказывает председатель исполкома Спасского поселкового Совета народных депутатов города Таштагола Н. Кызынгашев:

— Из года в год наши леса несут большой урон от вмешательства людей. Губят «зеленого друга» браконьеры, неопытные охотники, беспечные туристы. Губят и лесозаготовители. Каждый год комбинат Южкузбасслес просит у облисполкома разрешение на рубку кедра «в виде исключения». И получает его. А как рубит? На лесосеках неразделанные стволы, сучья, хвоя, вывороченные пни, корни. А ведь все это могло бы стать сырьем для деревоперерабатывающей промышленности. Гниют там и сотни, тысячи кубометров леса.

И подобные факты не единичны. Новокузнецкий опытно-показательный лесхоз, о котором упоминалось выше, хорошо ведет лесовосстановление. А как он следит за порядком на

лесосеках? Чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно побывать в Апанасовском и Чистогорском лесничествах, где заготовкой древесины занимаются сами лесники. Картина там точно такая же, как в Таштагольских лесах. Стоит ли говорить, что такое отношение к народному богатству не делает чести лесорубам. Захламленные лесосеки — это инкубаторы вредителей леса, там задерживается естественное лесовосстановление, не делают гнездовый птицы, не обитают звери.

В урочищах Новокузнецкого лесхоза, в районе деревни Мостовой, мне довелось видеть выборочную рубку пихты, которую ведут лесники. Свалив дерево, очистив с него сучья и собрав то, что пойдет на пихтовый завод для выгонки масла, ствол дерева и крупные сучья заготовители оставляют в тайге.

Браконьеры во время шишкобоя обламывают ветви и верхушки кедра. Черемуху при сборе ягод ломают или спиливают. Срезают под корень березу при заготовке веников. И нарушителям все сходит с рук, потому что иные работники лесной охраны заняты чем угодно, только не охраной леса. Пример тому — деятельность лесничего Тогульского лесхоза Алтайского края Радестева. Вместо того, чтобы охранять тайгу, он сам хищнически грабит ее. Минувшим летом этот горе-лесник начал шишкобой в половине августа, за ним потянулись и браконьеры. После таких «радетелей» природы в кедровниках ни белке, ни кедровке делать, конечно, нечего.

А какой вред природе наносят дикие набеги неразумных туристов, грибников и просто отдыхающих. После таких набегов вокруг бивуаков все примято и покорежено, замусорено и все живое оглушено воем транзисторов и громкими воплями под гитару.

Все это, скажет читатель, частные мелкие факты, стоит ли обращать внимание на них. Ведь лес, как утверждает пословица, по дереву не тужит. С глобальной точки зрения, может быть, это и так, но ведь как сказал поэт: «Стал без кедра лес не полон». И наша тайга без какого-то одного куста или дерева хоть и останется тайгой, но уже не будет полна.

НОВОКУЗНЕЦК

Это, конечно, вовсе не значит, что ее не надо рубить, не надо эксплуатировать. Надо! Но так, чтобы учитывались не только узкие ведомственные интересы лесозаготовителей, лесников, охотников, но и общегосударственные интересы. Чтобы последствия эксплуатации лесов человеком не наносили непоправимого урона фауне, чтобы «зеленый друг» был всегда богатым и процветающим.

Случается, что иные люди, далекие от охоты и рыболовства, сравнивают эти занятия с кровожадной страстью к убийству всего живого, что попадет на глаза. Переубедить таких людей не просто. Жаль, что многие из них не сидели на утренней зорьке на берегу реки, ожидая поклевки, не любовались росой, бисером на почти синих камышах, не видели, как седые космы тумана, отрываясь от воды, поднимаются вверх и сквозь них пробиваются рассеянные солнечные лучи. Должно быть, не доводилось им наблюдать тетеревиного тока, когда, забыв о ружье, можно любоваться красочным зрелищем косачино поединка, в котором так много огня и неподдельной страсти.

Мой опыт и опыт моих знакомых позволяют мне утверждать: в каждом охотнике и рыболове больше заложено от истинного любителя природы, чем от кровожадного добытчика.

И еще одно. Охота и рыболовство — это не столько дичь и рыба, сколько вид активного отдыха. Это здоровье, «добытое» в тайге и на реке. Наконец, это действенное средство воспитания и самовоспитания любви к природе, к родному краю. А коль так, то спортивная и промысловая охота и рыболовство должны развиваться, и развитие их будет тем успешнее, чем лучше мы используем все возможности для воспроизводства нашей фауны.

В свете положений Лесного кодекса РСФСР, принятого в прошлом году Верховным Советом республики, реализация возможностей, о которых шла речь, требует заинтересованного делового подхода к проблемам охраны природы, дичеразведения и рыбоводства со стороны всех, кто так или иначе имеет отношение к ним. Думается, пришло самое время вернуть природе старые наши долги. Вернуть как можно быстрее и желательно сторицей.

Евсей Цейтлин

МУЖЕСТВО ДОБРОТЫ

О прозе Екатерины Дубро

Почему люди берутся за перо? Давным-давно эти причины названы: стремление рассказать о пережитом, мучительная и святая тяга к самовыражению, иногда — тщеславие, жажда известности.

В одном из первых рассказов Екатерина Дубро вместе со своей героиней размышляла о назначенных врачами сроках жизни и — одновременно — о будущих собственных произведениях: «...если мне осталось семь-восемь лет, то и это хорошо. Это же масса времени: восемь лет! Я не боюсь... Хочу только писать. Это единственное, что может еще дать мне жизнь».

Автор не думал о славе, его не мучили суточные мысли о бессмертии: просто два слова «писать» и «жить» оказались для Екатерины Дубро равнозначными.

Она и сейчас не считает себя писателем и обычно долго сомневается перед тем, как отдать свой новый рассказ в редакцию.

Ее первая книга вышла в Кемерове в 1973 году. Книга называлась мужественно и поэтично: «Вернусь звездопадом...». Автору исполнилось двадцать пять лет, из них уже десять она была оторвана болезнью от своих сверстников. Теперь очевидно: кроме редкого и дерзкого упорства, у девушки был бесспорный литературный дар. Она не ошиблась в своих надеждах, увидев именно в творчестве реальный и ясный смысл жизни. Она научилась радости творчества — ощущению, которое приходит к каждому, кто с добрыми и чистыми помыслами берется за перо. В том же раннем автобиографическом рассказе Е. Дубро попробовала «схватить» это редкое и ни с чем не сравнимое состояние, «когда замысел начинается оживать». «Необыкновенное, неизъясни-

мое чувство! — восклицает героиня рассказа. — Оно — чудо, только бы не вспугнуть, дать окрепнуть. Потом-то оно само возьмет во власть, и власть эта будет жестокой: все посторонние мысли и интересы запретит, все исчезнет — останется только это... И стопка чистой, белой бумаги волнует, как первое свидание».

...Так она начинала.

Однажды Екатерина Дубро вспомнила справедливое предупреждение Карамзина: «Ты берешься за перо и хочешь быть автором: спроси же у самого себя, наедине, без свидетелей, искренно: каков я? Ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего». В этих словах сформулирована одна из закономерностей творческого поведения. Да, каждая книга — это автопортрет писателя, особенно — книга первая: в ней выстраданно, со страстью исповеди запечатлен весь опыт человека, только что пришедшего в литературу.

Но вот парадокс: читая первый сборник Е. Дубро, не раз задумываешься над тем, сколь несхожи жизнь автора и жизнь ее героини! У молодой девушки по имени Катя Дубро позади были годы борьбы с болезнью, средняя школа, оконченная дома, но с серебряной медалью, заочные курсы иностранных языков... В одном из ранних стихотворений она писала:

Что имела — потерялось,
Что ищу — не нахожу.
И кататься не каталась,
А вот саночки вожу.
Уж такой, наверно, жребий
Был предсказан налегке:

Муравля не видно в небе —
И синицы нет в руке.

Это сказано о себе: стихи привлекают резкой, хоть и безотрадной, искренностью. А героини прозаика Е. Дубро были, как правило, жизнерадостны и оптимистичны. Они входили в жизнь уверенно, с каким-то праздничным чувством. Но, думается, противоречия здесь не было. Во-первых, здесь сказался своеобразный принцип писательницы, которая хотела запретить себе «легкий», как ей представлялось, путь в искусстве; приступая к своим первым вещам, Е. Дубро опасалась: «Боюсь, что постоянно буду сбиваться на свою тему, на свою боль». Во-вторых, стоит заметить: «портрет души» в рассказах автора безусловно имелся; он вырисовывался в книжке достаточно четко и привлекал читателя. Только все дело в том, что «портрет» не фотография; далеко не всегда здесь стоит искать внешнее сходство между автором и героем — стоит выделить и второе слово, произнесенное Карамзиным: **портрет души...**

Зачем лукавить? В том, первом, сборнике Е. Дубро не так уж мало слабых страниц; здесь есть много из того, что характерно обычно для книг начинающих: рыхлость композиции, порой ложная сентиментальность и многозначительность. Но безусловно: успех этой небольшой книжки был серьезен. Есть в том сборнике новичка качество, которое всегда отличает подлинную прозу от псевдолитературы. Это глубокое уважение к человеческой личности, ее идеалам, а отсюда — бескомпромиссность, строгость в оценках жизненных явлений. Конечно, именно здесь общее, главное, в «портрете души» писательницы и ее любимых героинь.

Кстати сказать, героини эти в свою очередь почти все были похожи друг на друга. У них разные имена, но во многом один характер. И очень схожие судьбы: все они еще только начинают свой путь. Они продают газеты в киоске «Союзпечати», как Ася из рассказа «Чем пахнет весна». Они разносят по домам телеграммы, как Валя в рассказе «Апельсиновое солнце». Или, чуть повзрослев, окончив техникум, работают на заводе — подобно Славке в «Серебряных колокольчиках».

И мир предстает перед ними в одном облике: яркий, разбегающийся в разные стороны. Увлекающий. Каждый новый день обещает что-то необычное. Мелькают в киоске обложки журналов и фотографии кинозвезд. Мелькают телеграммы в твоих руках: порой обычные, нередко — рождающие мечту: «Море шлет тебе привет — возлюбленной царя морского» или: «Ухожу плаванье. Вернусь звездопадом». И кажется: все сбудется, сказка придет и к тебе. И тебе пришлют «экзотические» телеграм-

мы... Да, до поры до времени мир для героинь Дубро похож на интересный фильм: ты жадно смотришь его, а потом идешь домой — к маме, братишке; в своих старых валенках, а не в модных сапожках... Это еще, девочки, не про вас, это еще в кино.

Но рано или поздно что-то должно произойти и с ними. И происходит. К киоску «Союзпечати» подходит элегантный командированный и похищает Асю прямо среди белого дня: нет, он не волшебник, он просто достает из кармана тридцать рублей — выручку Аси за целый день. В Славку влюбляется чужой муж, а потом к ней является выяснять отношения жена. Ира из рассказа «Уж такая погода» решает для себя старый-престарый вопрос: бывает ли любовь с первого взгляда, можно ли сразу довериться своему сердцу?

Так в жизнь юных девчат из рассказов Е. Дубро приходило нечто новое, неведомое им. Но скорее всего — это просто приходила к ним другая, взрослая, жизнь.

Не случайно экспозиции рассказов писательницы напоминали тогда зеркала: в них отражалось то, что видели вокруг себя героини Дубро, открывающие мир. В «зеркале» рассказа отражались разные люди. Девочка-третьеклассница, гордо придумавшая себе «нормальную» семью в то время, когда дома ее ждут всегда пьяные родители. Солидный мужчина, с досадой воскликнувший, получив известие о смерти отца: «А как же командировка?» Здесь отразится и «море, в которое влюбляешься сразу и навсегда», море, похожее на «живое существо — могучее, непостижимое в своем величии и в то же время бесконечно одинокое».

Но иногда замысел писательницы менялся: в «зеркале» оказывались ее любимые персонажи — такими, какими их видели со стороны.

В рассказе «Чем пахнет весна» Дубро проводит своеобразный опыт: она заставляет посмотреть на свою героиню человека, как говорится, «с другой планеты». Молодой командированный хочет явиться к Асе, как является сказочный принц, — хочет блеснуть метеором, подчинившись своей внезапной прихоти, ослепленный, не пожалев «ни денег, ни души, ради постороннего, незнакомого человека»; хочет «уехать, оставив по себе благодарную, восхищенную память». Но, оказалось, подарок сделала ему она, Ася, — девушка, чье имя не случайно созвучно имени гриновской Ассоль. Она принимает внезапное признание своего рассказывшегося в тисславии «принца», который уже завтра уедет в далекий от Сибири Волгоград. И понимает чужую душу. В мороз она чувствует запах весны. И знает: весна всегда пахнет надеждами...

Ясен и чист мир в первых произведениях Екатерины Дубро; ее художественный почерк был адекватен мировосприятию героев. Кри-

тик О. Гладышева, откликнувшаяся в «Литературной газете» на появление сборника «Вернись звездопадом», писала тогда: «Миниатюры Дубро похожи на рисунки пером, тонкие и четкие. При чтении рассказов Дубро невольно возникает мысль о природе ее воображения. Оно всегда конкретно и точно. И всегда импульсивно. Логика воображения заменяет пока молодой Екатерине Дубро жизненный опыт и не подводит ее. Она владеет уже не менее ценным опытом — опытом души. Личные обстоятельства жестко учили ее размышлять, требовали мужества, и она знает, как отсеять плевелы и как ценить зерна человеческой «настойчивости».

Примечательно: молодой прозаик явно предпочитал жанр рассказа. На то были свои причины. В одном из интервью Екатерина Дубро призналась, говоря о рассказе: «...Люблю его за многое и прежде всего за возможность особенной близости к отдельному человеку, причем самому, казалось бы, обычному и в самой, казалось бы, обычной ситуации... У рассказа довольно жесткие рамки, но как это заманчиво — рассказ. Каждое слово, каждая деталь в нем, как в стихотворении, куда более весомы, чем в крупном произведении. Без детали рассказа нет, и каждая работает на него, но имея свой голос».

Очевидно, что была и еще одна причина страстной приверженности автора к жанру рассказа: последний весьма и весьма мобилен в постановке сложных нравственных проблем. А проблемы эти были и есть во всех произведениях Е. Дубро.

Вот одна из них: любовь и брак в эпоху НТР... Как на редкость обильно пишут об этом сейчас! Демографы делятся со всей страной интригующими данными научных исследований; газеты печатают раздумья старшеклассников, пенсионеров, а также архиполевические заметки публицистов; в критике вновь и вновь разгораются споры о семейно-бытовой прозе. Ну, а рассказы? Мы находим здесь интересные вариации тех же проблем; иногда, правда, видим только постановку вопросов, но очень часто — ответы.

В рассказах Е. Дубро — разные состояния человеческой души, узнавшей это редкое и сложное чувство. Предощущение любви (вспомни тот же рассказ «Чем пахнет весна»); ее зарождение («Уж такая погода»); столь типичные страдания любви «заблудившейся», когда он и она, совершив ошибку, ищут новые пути друг к другу («Рысенька»). В последнем варианте нет ничего неожиданного. Больше того: писатели и режиссеры чаще всего показывают нам именно любовь несчастную. Ведь «всякая счастливая любовь похожа на другую, всякая несчастная любовь несчастлива по-своему...» Можно и так перефразировать А. Толстого!

Художникам же всегда интересно индивидуальное, интересна даже не сама любовь, но дороги к ней. Вот почему, когда любящие сердца соединились, когда «конфликтная ситуация» решена, писатель ставит точку, на киноэкране появляется «конец фильма».

Во второй своей книге — «Медленные часы» (Кемерово, 1976) — Е. Дубро интересно продолжила эту тему — в нескольких рассказах она показывает гибель, умирание любви.

...Уже самое построение начальных фраз рассказа Е. Дубро «Петушина весна» заключает в себе некое беспокойство, передает «аритмию» человеческой души:

«И чем больше темнели дороги, тем тревожнее и радостнее становилось Пахомову. Как гончей собаке. Однажды он долго не мог уснуть, потому что за полночь стучала капель по подоконнику...»

Да, это о герое рассказа. И дороги упомянуты здесь не случайно: Виктор Пахомов — шофер. Его существование определяется тем, что у Пахомова «все есть»: и жена, и ребенок, и квартира. Перед нами «хорошая» семья, которая вот-вот распадется. Перед нами ситуация, особенно интересующая социологов.

Виктор не задает себе вопрос: почему? Кажется, не задает этого вопроса и автор. Е. Дубро «просто» фиксирует тупики человеческой жизни. Именно весной, когда все приходит в движение, а в сердце стучит надежда, Виктор вдруг останавливается пораженный: день сегодняшний во всем повторяет вчерашний. Работа, телевизор... И, увы, все уже известно заранее: и то, что он скажет жене, и то, что жена ему ответит. Хочется оглянуться вокруг, понять: «Как живут другие? Неужели так же?»

А весна напоминает: пусть многое позади, но ты еще молод. И все еще возможно. И возможна любовь. Мучают Виктора Пахомова одинаковые сны: видит он девушку Олю, мимо которой прошел когда-то в юности. Мучает явь: Оля сейчас в городе, в телефонную трубку можно услышать ее голос... Финал рассказа Екатерины Дубро менее типичен, чем многочисленные финалы аналогичных историй в жизни. Пока еще героя «спасают» мысли о маленьком сыне. Пока еще и он, и Оля пытаются найти мудрость в услышанных однажды словах: «Если я потеряю власть над чувствами, то сохраню ее над поступками». Но все это — пока, пока...

Старые коллизии, грустные будни семьи, описанные еще классиками. Но по-новому звучит вывод молодой писательницы, убедившейся на примере судеб своих современников в сложной диалектике проблемы: без любви жизнь человека теряет гармонию, уходит высокая и подлинная духовность. Вместе с тем в своих новых рассказах Е. Дубро доказывала и

другую давным-давно известную, но трудную для каждого отдельного человека истину: интимная и общественная жизнь для людей не отгорожены друг от друга пресловутой «китайской стеной»; когда бытие человека становится механическим и бездуховным, гибнет, исчезает любовь. В рассказе «По французской пословице» эту истину постигает молодая женщина, заведующая библиотекой Людмила Максимовна: ее муж, художник, идет на компромисс со своей совестью, со своим талантом. И человек, с которым прожито десятилетие, постепенно становится совсем чужим для Людмилы Максимовны... Рассказ «По французской пословице» выделяется среди произведений Е. Дубро: она задумывается здесь не только о любви — о верности художника самому себе. О верности Правде, которой прежде всего живо искусство.

Нетрудно заметить: вторая ее книга весьма не похожа на первую. Конечно, здесь, как мы видели, легко найти общие со сборником «Вернусь звездпадом» мотивы и темы; но различие очевидно. Прошло всего три года. Уместно сказать: целых три года. Сама жизнь резко вошла в сборник «Медленные часы». В этой жизни есть боль, страдания, отчаяние, сомнение — все то, что раньше автор как бы пытался скрыть, оставить за скобками, в своей, личной, биографии. В сущности, этот выбор точки художественного видения присущ любому таланту и каждый честный, непредвзятый вглядывающийся в действительность художник приходит рано или поздно к выводу: искусство должно вбирать в себя боль жизни. «Надо все-таки, чтобы чувствовалась боль — если она есть. А что она есть, это несомненно». Так писал незадолго до смерти, подводя итоги собственных дней и трудов, большой писатель Всеволод Иванов. Подходя к своей второй книге, это могла бы повторить и Екатерина Дубро.

Хотя трансформацию ее прозы можно определить и по-другому: в произведениях писательницы стало ощутимее влияние классики. Не то слепое копирование, которое порождает эпигонство, — то серьезное осмысление традиций искусства, которое связано прежде всего с серьезным осмыслением жизни. Кажется, Е. Дубро с годами все глубже постигала мудрые уроки Толстого, Достоевского, Чехова: литература замечательно проповедует добра, может быть, во имя этого, только для этого писатель и приходит в искусство. Уже в раннем автобиографическом эссе Е. Дубро писала: «Хочу, чтобы усталому или одинокому стало от моих рассказов хоть чуточку теплее, чтобы человеку уютному стало хоть чуточку неспокойнее. Чтобы торопились видеть и де-

лать доброе. По-моему, борьба за человека с умным сердцем не менее важна всякой другой борьбы. Здесь еще-посложнее, здесь напролом не возьмешь». Теперь же, спустя годы, проповедь добра — то прямая, настойчивая, то скрытая, исподволь — звучит во многих произведениях Екатерины Дубро. А обращение к классике проявляется у писательницы по-разному. Порой — уже в самом сюжетном строе.

«Что за наваждение!» — быть может, воскликнет читатель одного из рассказов Екатерины Дубро. Да, события, происходящие здесь, — сплошная загадка! Житель маленького городка, а точнее одного дома в Пестром переулке, будит по ночам стук в дверь; но... за дверью никого нет. Люди, преодолевая стыд, рассказывают друг другу о происшедшем; люди выбиваются из привычного ритма жизни. Выпивоха Колокольчиков перестает «закладывать за галстук». Домком Полина Викторовна, поначалу скептически улыбающаяся, лихорадочно думает о причинах явления: «Может быть, вирус какой, не раскрытый еще наукой? Может быть, злокозненные происки реакции? А что? Училили эксперимент, и сперва на таком неприметном, скромном объекте...» Рядом с вопросами, которые мучают героев, естественен вопрос и читателя: чему же служит столь щедрый авторский вымысел? Для чего вся эта «мистификация» в век НТР?

Вы уже догадались? В сюжетных построениях рассказа «материализуется» известная, выстрадавшая мысль Чехова: за дверью счастливых, довольных собой людей всегда должен стоять «кто-нибудь с молоточком» — постоянно напоминать «стуком, что есть несчастные...» В рассказе развивается, «оживает» мысль Чехова, но, читая его, вспоминаешь и другого классика — Гоголя. Вспоминаешь «Петербургские повести»: у Е. Дубро мы нередко встретим фантазмагоричность, удивительное, совершенно естественное сочетание нереального и обычного. В рассказе «Кто-то с молоточком» это «смешение» служит извечной цели искусства — пробуждению в человеке человеческого: души героев «оттаивают», поистине оживают...

Перед нами современная городская история, в которой очень много от старой сказки: добро здесь обязательно побеждает, а зло непременно наказано. Закоренелый холостяк-ловелас решает жениться на одной из своих жертв; немолодой человек, мастер, пасующий перед начальством, вспоминает о фронте, о своей былой смелости... Не правда ли, сказка эта не кажется теперь нереальной: она указывает путь, напоминает об истинном назначении человека.

Впрочем, рассказы Е. Дубро менее всего похожи на нравоучения. Часто мысль автора рождается в споре, в полемике. И эта дискуссионность, когда нравственный итог формиру-

ется, что называется, на глазах у читателя, опеределяет структуру многих вещей прозаика.

Таков рассказ «Медленные часы». В начале автор сразу предупреждает читателя об отсутствии занимательного сюжета. Повествование о больнице, а какие здесь сюжеты? «Попал в больницу — завязка, кульминации нет, вот выписка и есть все вместе: кульминация, которая — развязка...»

Нет сюжета? Кажется, это в самом деле так. Есть судьбы людей, прочерченные коротко, но точно. Судьбы разные и схожие, ведь люди подобны здесь транзитным пассажирам: «вынужденная пересадка, сидят на чемоданах и терпеливо ждут — спешить не спешить, а поезд когда прибудет, тогда и прибудет, причем расписания точного нет».

И все-таки по-своему острый сюжет в «Медленных часах» очевиден. Истории судеб и портреты людей расположены в рассказе не хаотично: они должны подтвердить важную для повествования мысль. Рассказ явно задуман как спор. Его ведут юная девушка Таня и сорокалетняя Нина Ивановна — у обеих тяжелый недуг, обе надолго пропались в больнице. Спор не явен: они обмениваются вежливыми фразами, они не позволяют себе «вести дискуссии». И тем не менее они спорят. И это ясно обоим. Спор о том, как относиться к собственному горю. И к горю вообще. О том, так ли уж верны знаменитые слова о жалости, унижающей человека.

Автор и читатель следят за этим спором, наблюдая жизнь обычной больничной палаты. Среди ее обитателей нам особенно интересна Нина Ивановна — образ, не слишком разработанный в литературе. Писательница не упрощает этот характер. Конечно, она много пережила, перестрадала много, Нина Ивановна, прежде чем вывести свое правило: «волноваться вредно и тем более это ни к чему, если касается кого-то постороннего», прежде чем устроить свою жизнь и жизнь близких людей под углом жесткой целесообразности. Вот ситуация, насколько непривычная в нашем искусстве. Обычно мы лишь восторгаемся теми, кто не сдается в борьбе с болезнью. Ну, а если в этой борьбе человек перестает замечать других? Та же Нина Ивановна может и посочувствовать соседке по палате, и даже дать полезный совет; но ведь все это в пределах собственного личного спокойствия. Тем не менее Е. Дубро не выносит приговора своей героине: и она достойна того сострадания, которое сама так непреложно отрицает. Добро и сострадание представляется писательнице выше эгоизма «горя, позабывшего, что оно не одно».

Да, произведения Е. Дубро с годами становятся все более философичными. Не в том смысле, что они оторваны от наших будней и в

них решаются какие-то отвлеченные проблемы. Философичность тут иного рода. Движение прозы Дубро — это зачастую движение человеческой мысли. Наверное, оттого в рассказах писательницы столь часто звучит теперь голос автора. Он, автор, доказывает, протестует, негодует, размышляет. И он не хочет скрывать, во имя чего взялся за перо.

...И еще одна тема неназойливо пробивается через многие — если не через все — рассказы сборника «Медленные часы». Это тема преодоления одиночества. Вечная, благородная, гуманная по своей сути тема искусства. Как правило, она трактуется однозначно: уйти от одиночества — значит, победить свое неверие в жизнь, свою гнетущую тоску, боем души своей. Уйти от одиночества — значит, прийти в коллектив, к людям, открыться им, обрести главное для себя дело. Все это так, если выводить некий общий закон человеческого поведения. Но жизнь далека от каких-либо штампов, — напоминает своими произведениями Е. Дубро. Вот хотя бы ее рассказ «Богиня Семеновна». («Меня зовут Диана Семеновна», — говорит героиня при знакомстве и поясняет зачем-то: «Диана — это греческая богиня охоты»).

Женщина с древним именем очень одинока; но она меньше всего напоминает тот тип индивидуалистки, что знаком нам по многим книгам. Она не мешанка, озарившая свою жизнь иллюзорным блеском вещей. Она не карьеристка, мечтающая о новых ступеньках на пути к власти. Она рядовая секретарь-машинистка. В рассказе есть скрытая полемичность. Надо ли упрекать героиню за то, что она уже привыкла к собственному одиночеству и даже не пытается восстановить рушщиеся, как тонкие ниточки, свои контакты с людьми? Автор задумывается о другом. Он не откидывает как бытовые рассуждения сослуживцев Дианы Семеновны о ее жизни, но серьезно размышляет над ними: «Ну, в самом деле, вся жизнь с ее прогрессом и культурой, по академiku Павлову, делается рефлексом цели, который и есть основная форма жизненной энергии человека. А какая, простите, цель у той же Дианы Семеновны? Как, зачем, для кого живет?» Трудные вопросы. Дубро отвечает на них всем ходом своего рассказа. У автора хватает мудрого такта, чтобы не посчитать мелким простое, незатейливое бытие человека. Мы видим: каждодневно Диана Семеновна преодолевает свое одиночество. Это преодоление состоит для нее в том, чтобы творить добро (в данном случае привычное словосочетание звучит несколько высокопарно). Диана Семеновна делает это незаметно, боясь громких фраз и не боясь ошибок. (Собственно, рассказ как раз об одной из ее ошибок, о девочке Лене, пущенной на квартиру, приле-

тевшей, словно яркая бабочка, на огонек Дианы Семеновны и вскоре улетевшей дальше.) Каждому человеку хочется, чтобы его поняли, узнали его душу; но в конце концов не это главное и не это приносит душевный покой: главное — твое стремление понять других людей, твое стремление слиться с многообразным и неожиданным миром. Вот мудрый закон, по которому — сознательно ли, интуитивно ли — живет Диана Семеновна. Пожалуй, здесь не основной итог рассказа, но эта мысль, бесспорно, среди тех, что возникает по прочтении «Богини Семеновны».

«Улица Тра-ля-ля»... Еще один рассказ с необычным названием. Тоже рассказ-«судьба». Перед нами такой тип организации жизненного материала, когда читатель постепенно «погружается» в историю героя; когда сам герой, мучительно размышляя и обращаясь к собственной памяти, резко высвечивает смысл своей жизни.

Рассказ о человеке, которого мы привычно и правильно назовем алкоголиком. О том, как деформирует «зеленый змий» человеческую личность? Конечно, и об этом. Но если бы только об этом, писать рассказ все же не стоило бы. Достаточно было бы прочитать один из популярных очерков журнала «Здоровье». Удача Дубро в том, что ее герой не выглядит пугалом, еще одним примером для «неподражания». Не боюсь сказать: и в этом рассказе есть любовь к герою, есть сострадание к заблудшему. Человек потерял себя на дорогах жизни; не важно, что потерял из-за водки, важно другое: потерял.

Известный профессор Филатов, вернувший тысячам людей зрение, советовал своим ученикам время от времени закрывать глаза — дабы хоть ненадолго почувствовать «вечную тьму». Художнику не стоит замуриваться; помнить о чужом горе — это его призвание; стремление понять других людей — начало начал профессии. Е. Дубро застает своего Максима Орешникова, немолодого уже сварщика, в тот момент, когда он ставит перед собой вопрос: быть или не быть? Человеку уже надоело начинать все сначала, убежать от других, но больше от себя самого. Надоело, а в кармане — две таблетки, которых — знает Орешников — «вполне довольно, чтобы отправиться в мир иной, только после них надо основательно выпить. Тогда, если даже начнут спасать, лишь ускорят, не зная причины, конец».

Голос автора звучит и в этом рассказе; но звучит совсем иначе, чем в других произведениях Е. Дубро. Автор не нарушает стилевой поток, который передает «скачки» мечущегося, пытающегося найти выход из жизненных тупиков мышления. Автор подает свой голос как бы нечаянно, тактично и — очень кстати, «Ули-

ца Тра-ля-ля» — называется рассказ. «Тра-ля-ля» — и потому, что Максима мучает мотив французской песенки, которую он не знает. А мелодия так созвучна его непутевой жизни! Максим ищет в эфире песню — не находит. И тогда автор подсказывает читателю слова:

Вновь чужие города,
И вновь над ними серые дожди.
Затерялся я в толпе,
Я от себя хочу уйти.
Где искать и как найти
Любовь, которую не уберег?
Словно этот серый дождь,
Бездомен я и одиноко...

Песня звучит в рассказе как бы параллельно повествованию, как бы независимо от него и — вместе с ним. В песне сотни чьих-то судеб и его, Максима, судьба. Здесь все правда: и про город, что когда-то был твоим, но теперь уже давно стал чужим, и про неприкаянность, и про любовь, которая промелькнула и исчезла.

Есть, бесспорно, закономерность в той настойчивости, с какой Е. Дубро обращается теперь к «трудным» темам, ставит перед собой более сложные, чем раньше, художественные задачи. Для молодой писательницы — это не просто еще один профессиональный рубеж; это и результат понюхавшего для литературы не существует запретных проблем и «темных уголков» жизни; писать можно решительно обо всем, весь вопрос в том, как писать.

В рассказе «Трефи-козыри» (он впервые печатается в этом номере «Огней Кузбасса») звучит тема, которая не столь уж редко, но порой не очень умело разрабатывается нашими писателями. Это тема преступного мира, психологии людей, которые — трагически для себя и общества — оказались «по ту сторону» закона. Е. Дубро решает эту тему смело и неожиданно, если даже просто говорить о сюжете: бывший вор, только что вышедший из колонии, опять совершает то же преступление, за которое был осужден, — сдергивает на улице с головы девушки песцовую шапку. Но вот внезапный поворот: жертва Грехи (так зовут вора) догоняет его (у девушки разряд по бегу) и не только не зовет в милицию, но спокойно произносит: «Хочу спросить, почему...» Их диалог довольно долгий и, в сущности, определяет структуру рассказа. В таком сюжетном движении таится опасность: малейшая неточность, даже фальшь интонации могут погубить весь рассказ. Но проза Е. Дубро выдерживает это испытание. Автор так строит диалог, что мы находим в нем интересные и серьезные мотивировки странного, на первый взгляд, случая.

В рассказе открытый финал; здесь нет поспешного и радостного ликования: вор перевоспитан! Финал «напишет» жизнь и, честно говоря, его все же трудно заранее предугадать. В общем ходе бытия, знает писательница, есть и логика, и оптимизм; но конкретные судьбы, бывает, складываются с абсурдным трагизмом. У того же Грихи есть своя выношенная «философия»; он твердо уверен: все люди нескрещены, большинство из них ворует, и на воле ходит гораздо больше жуликов, чем находится их в заключении. Встреча с «сумасшедшей» девчонкой поколебала эту «философию». Однако только поколебала...

А рассказ «Моряк» традиционен. Моряк — кличка старой больной собаки, что медленно умирает в подвале; литература же всегда зывала любить «братьев наших меньших». В этой традиционности есть опять-таки достоинство писателя — проповедника добрых истин. Спокойно, сознательно, не боясь повториться, Е. Дубро берет многократно использованный классической прием: очеловечивает сознание животного, а затем реконструирует его. Весь рассказ это как бы горестный монолог пса, его воспоминание о былых веселых днях, когда он был лучшим другом ребятни и участвовал во всех их играх, забавах, проказах. Это мечты: «...Старое сердце пса начинало радостно биться, при звуке родных детских голосов на улице, ах, как рвалось оно к ним, как задышалось, как надеялось!» Люди предают Моряка. Рассказ заканчивается тремя короткими, как выстрел, и, как выстрел же, точными фразами: «Хозяин убил его какой-то железкой. Убил не сразу, в темноте-то. И пошел ужинать». В этой сжатой констатации, в сущности, рядовой житейской ситуации — обида, сострадание, протест, горькое понимание: «так было всегда», горький вопрос: «неужели так будет?»

Думаешь о Екатерине Дубро и на ум приходят два слова: «мужество», «доброта». Причем, эти понятия сливаются: доброта всегда

мужественна, и наш век не составляет в этом отношении исключения.

Она загадала себя рано: в двенадцать лет стала исписывать тетрадки, с детской непосредственностью ставя к своим сочинениям жанровый подзаголовок — «повести»... Потом писала стихи, которые ушли от нее, как уходят от людей детство и юность.

Жизнь была скомкана, изломана болезнью, и она отстояла свое право на другую жизнь — в прозе. Она не видела здесь ничего значительного, а потому очень смутилась, когда ей присвоили комсомольскую премию «Молодость Кузбасса». Вот так же смущалась Катя в отрочестве, получив после одной из радиопередач о себе три тысячи писем: люди восхищались ею, рассказывали о своей жизни, школьники обещали хорошо учиться... «За что? Почему? — говорила она себе. — Что особенного я совершила?»

Действительно, она жила так, как хотела, — сохранив верность своей душе. У нее не было другого выбора.

Впрочем, нет: выбор был. Все-таки был. Тогда же, в отрочестве, врачи вдруг пообещали: болезнь будет прогрессировать медленнее, если Катя начнет беречь себя — меньше заниматься, не так много читать... Но уже тогда она решила: **такая** жизнь ей не нужна.

Екатерина Дубро выбрала **свой** путь. Я вспоминаю сейчас Юргу — маленький рабочий городок из тех, какие обычно показывают в кино: прямые улицы, родившиеся совсем недавно, густая зелень скверов, похожие друг на друга дома... Она живет вдвоем с матерью в одном из таких «близнецов», в обычной двухкомнатной малометражке. И почти каждый день ее одинаков: «...над первой страничкой биться целый час, и черкать, и отчаиваться в страхе, что на сей раз ничего не выйдет. И снова взвешивать каждое слово, со всех сторон рассматривать, к каждому прицениться: чтобы выбрать получше, подороже, повесомее. И будут это удивительные дни. И тогда ничего больше не надо — всем богата!»

Кто скажет однозначно: труден ли, радостен ли этот путь?

ТЕМА ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И ДОБРА

Заметки о книге Зинаиды Чигаревой „Свет мой ясный“

..Как обычно нам представляется творческий путь литератора? Первые публикации. Подготовлена, издана первая книжка рассказов или повесть. Обычно уже в них проглядывается художественная манера, стиль, главная тема автора.

А дальше, по мере роста и возмужания таланта, расширяется и углубляется тематика, яснее вырисовывается та высота, на которую нацелен, к которой устремлен литератор.

Но это только в нашем, читательском представлении. На самом же деле все обстоит иначе. Творческий путь каждого писателя сугубо индивидуален. Потому что всегда он — поиск, протирание собственной, своеобразной дороги. И, бывает, проходя годы, прежде чем литератор выйдет на свою тему, овладеет жанром, явит примеры индивидуального стиля.

С этой точки зрения интересно будет познакомиться с очередной литературной работой Зинаиды Чигаревой, ее прозаической книгой «Свет мой ясный», которая в прошлом году вышла в Кемеровском книжном издательстве.

Вполне сложившийся на сегодня прозаик, она начинала как драматург. В те годы казалось, что драматургия может стать ее бесповоротной судьбой. На сценах Прокопьевска и Новокузнецка, Донбасса и Дальнего Востока была поставлена пьеса Чигаревой «Шахтерская поэма». Другая пьеса — «Пока не придет разводный» — экранизирована Центральным телевидением. И еще одна драматическая вещь — пьеса «Аллея славы» — в свое время была воплощена кемеровскими телестудиями.

Но больше и больше тяготеет со временем Зинаида Чигарева к прозе. В 1970 году вышел сборник рассказов «Золотые холмы детства», через три года появляется книжка для детей под названием «Осторожно, сказка!».

Я не ставлю цели анализировать творческие обретения или недочеты предыдущих произведений З. Чигаревой. Тот этап будем считать необходимым и по-своему важным для ее писательской биографии.

Какое же впечатление оставляет новый сборник с неброским, но ласковым названием «Свет мой ясный»? Что в нем и как это сделано?

В книге восемь рассказов и повесть «Если любишь...» Некоторые вещи появлялись на страницах альманаха «Огни Кузбасса». Но теперь под общей обложкой книги они живут новой жизнью, потому что сборник — это нечто основательное, единое по писательскому замыслу.

Есть в этой книге Зинаиды Чигаревой (пока говорим о рассказах) вещи различной степени простоты и сложности. И в сюжетном отношении, и в смысле исполнения, и языкового порядка. Это, пожалуй, естественно, творчество — дело живое. Но что хочется сразу отметить, выделить как индивидуальную особенность художественной манеры, так это четкую интонацию доброго стремления автора отыскать в своих героях лучшие, гуманные качества. Поэтому строжайшей темой прозы Зинаиды Чигаревой, мне кажется, можно назвать тему человечности и добра. Думается, работая в таком направлении, писательница находится на благодатном пути, сулящем творческие удачи. Ведь русской литературе, а преминице ее — советской — тем паче присущ сквозной гуманистический строй мысли. Это главная задача художественного творчества — нравственно возвысить героя, чтобы укреплялись нравственные позиции читателя.

Первый же рассказ нового сборника знакомит нас с личностью доброй, с человеком высокой душевной чуткости и сердечной пронительности.

«Праздник Маши Красильниковой» — повествование о незабываемых событиях одного рабочего дня штукатура-маляра Маши Красильниковой. Все в этот день было у нее обычным: ремонт очередной квартиры, стычка с выпивочкой Сашкой Барановым, а после работы предстояло, как всегда, домой, к мужу, к детям. И все необычно в тот день для молодой жен-

щины, потому что сегодня у Маши именины, и хозяйская квартиры, где идет ремонт, оказывается, страдает от разлада в своей семье. Что, казалось бы, Маше до чужих переживаний: у самой муж болен и живет в весьма нелегко. Ан нет, не глушит в себе героиня рассказа чувства сострадания, эгоизмом не отгораживается от чужих бед. Вот почему сочувственно слушает она хозяйку, подбадривает ее душевными словами.

Писательница специально насыщает повествование деталями бытовизма. В общем-то здесь исследование бытовых, простых житейских отношений героев и помогает автору выявить характеры, в конечном счете решить вопрос — насколько человек человек. Зинаида Чигарева в этом рассказе подчеркивает естественность поведения своей героини — интуитивна у Маши Красильниковой безгильность к людям типа Сашки Баранова, столь же интуитивно угадывает она человеческое горе, как бы глубоко оно ни было запрятано. Секрет душевной прозорливости прост: когда самому тебе трудно, твой внутренний взор обостряется и, если не очерствел, то способен не только переживать личное, но и сопереживать.

На бытовом материале удается автору решить и более сложные нравственные проблемы. Причем, решить профессионально глубоко, рисуя емкие, непростые характеры.

Показателен в этом отношении другой рассказ, который называется «Платок для матери». Сюжетным построением он как бы перекликается с известной повестью Валентина Распутина «Последний срок». Только Чигарева выбрала тот момент в жизни своих героев, когда «последний срок» уже исполнен, и вот в доме умершей матери остаются самые близкие родственники — ее дети.

Их двое — брат и сестра. Оба уже немолдые, живут вдаль друг от друга, у каждого семья, свои заботы, радости и огорчения. И различные (о чем и написан рассказ) взгляды на жизнь и жизненные, то есть моральные ценности.

Разбирая немудреные вещи, оставшиеся после матери, Люба и Николай ведут спор между собой. Одновременно каждый из них в душе спорит сам с собой. Суть этого спора-самоанализа писательница выразила в форме вопроса: «Кто ты такой, человек? Что ты есть на земле? Малая букашка-однодневка перед бесстрастным ликом вечности...»

Собственно, это все тот же извечный вопрос о смысле жизни, о ценности либо бесполезности существования человека на земле.

Авторский ответ не навязывается читателю. Герои Чигаревой прозревают постепенно. Психологический поиск истины ведется на протяжении всего повествования. Драматизм поиска не сопровождается какими-либо внешними деталями. И так прост ответ, для чего жила на

белом свете одинокая женщина, мать Николая и Любы. Трудным путем самоанализа, суда собственной совести ведет автор своих героев. Их позиции полярны и в то же время в чем-то смыкаются, все в рассказе сложно, как сложна сама противоречивая наша жизнь.

Да, утверждает писательница, нелегко постигать горькие истины. Вот дети находят среди материнских вещей золотые часы. Прочитывают гравировку: «Мы не можем представить себе, что Вас больше не будет с нами, нашей строгой и доброй мамы» — этими словами сослуживцы проводили на пенсию мать Любы и Николая. Дороже любого, даже золотого подарка, такие слова.

Что же дарили матери дети? В картонной коробочке дочь отыщет множество платков, это они их присылали по праздникам. Платки пролежали до самой смерти матери, так и остались ненадежными. Дочь удивляется: «Почему, почему мать их берегла?!»

«— Берегла, говоришь? — взрывается брат. — Черта с два! Нет, не берегла она их, эти наши с тобой «щедрые» дары. А просто складывала сюда за ненадобностью. Не нужны они ей были. Не нужны, поняла?»

Этот короткий «взрывной» монолог — не только раздражение против недоумения сестры, это, наверное, и момент прозрения самого Николая, прозрения хоть и запоздалого, но честного.

Казалось бы, наконец-то нравственный конфликт, изображенный в рассказе, разрешился. Брат, а за ним и сестра поняли, что не умели они раньше оценить жизнь, прожитую самым родным для них человеком, что относились они к судьбе матери, как к чему-то заранее данному, самому собой разумеющемуся. Теперь-то хоть, наконец, прозрели!

Но писательница не ставит в этом месте рассказа нравоучительного восклицательного знака. Спор о смысле бытия продолжается. Сестра обижена. З. Чигарева пишет об этом так:

«Я не права? — вскипает женщина. — Да? Я не права? Ну, ладно, мы ее не понимали. Но ведь это жизнь: родители и дети... У нас разные взгляды».

Мужчина промолчал — его сил хватило на это. Он понял, что сестра пытается оправдать себя, что она не хочет делить с ним горькую чашу вины, она лихорадочно ищет и непременно найдет способ усыпить свою совесть, и бесполезно доказывать ей сейчас ту простую истину, что всякие ссылки на сложности жизни не более как трусливая уловка, как попытка уйти от ответственности.

Как видно из приведенного отрывка, автор намеренно усложняет проблематику своего произведения. Думается, Зинаида Чигарева сумела подать известную проблему поколений, так называемую проблему «отцов и детей», в своеобразном художественном ракурсе. И до-

бавим, решает ее писательница глубоко, мотивированно, психологически точно и достоверно.

Доказательством тому — концовка этого интересного рассказа. Вот чем завершается он. Проводив сестру и вернувшись в гостиницу, герой укладывает вещи и вдруг обнаруживает... еще один платок для матери, который он, будучи в командировке, купил в подарок, но не успел отослать, потому что его ждала телеграмма о том, что матери больше нет.

...Для чего появляется на свет человек, в чем его жизненное предназначение. Это, пожалуй, можно назвать сквозной темой творчества Зинаиды Чигаревой.

Такие непростые вопросы заботят героев новой книги кузбасской писательницы. Поисками ответа заняты у нее и зрелые, и особенно молодые люди.

Пусть не новы для литературы эти вечные вопросы. Важно суметь ответить на них. Вот тут-то обнаруживается мера авторских пристрастий к своим героям, иначе сказать, выражается писательское кредо.

Чаше всего Зинаида Чигарева изображает обычную житейскую обстановку, в которой, на первый взгляд, трудно ожидать, чтобы герои занимались решением всечеловеческих проблем — гуманизма, сопереживания близким, искренности, мужественного самоанализа. Но писательница права: именно в будничной атмосфере необходимо отличать добро от зла, сострадательность от равнодушия. И что особенно ценно: автор стремится проследить развитие того или иного качества, свойства героя, подчас противоречивость процессов самопознания и самоутверждения. Творческое мышление художника по-настоящему диалектично, поскольку отражает диалектику жизни.

Эти выводы сделает читатель, например, по прочтении одного из самых интересных рассказов сборника. Рассказ называется неброско — «Девчонка на берегу». С первых строк здесь чувствуешь, с каким трепетным вниманием, с какой деликатностью понимания исследует писательница духовный мир героев. Пожалуй, тем вообще и сильно творчество Чигаревой.

Итак, что же на душе у Алешки Круглякова, студента, отдыхающего летним днем на речном пляже?

Трудно парню. Недавно редакция газеты отвергла его стихи: «с чужого, мол, голоса поете, молодой человек!» Красавица-однокурсница Любочка Завальнюк не может полюбить его, такого неудачливого. Вот и мечутся Алешкины мысли. То охватит ненависть ко всему окружающему, то вспыхнет сладостная жажда самоубийства. Пока эти настроения абстрактны — еще куда ни шло. Но автор реалистичен и раскрывает своего героя в поступках, а не только в его размышлениях. Рассказ по форме строится как внутренний монолог, это дает

возможность видеть нам образ Алешки Круглякова как бы в двух измерениях.

Девчонка на берегу сначала привлекает внимание Алешки. Однако в презрении ко всему он именно на ней и сорвет зло, грубо наорет ни за что, ни про что. Настроение! До середины рассказа мы не почувствуем опасности в подобном поведении героя. Опасности прежде всего для него, Круглякова.

Неожиданно создается драматическая ситуация. Тонет в речке та самая девчонка, что недавно «ловила консервной банкой солнечное отражение». И занятый собственными хаотическими переживаниями, студент не бросился ей на помощь, хотя первым услышал тревожный крик обреченности.

«Алешка вскочил на ноги, — читаем в рассказе, — но, постояв в раздумье, сел на прежнее место. Куда бежать-то? Все равно не успеть. А их там вон сколько людей! И какое ему дело до них и до того, что происходит там? Он, как Робинзон на необитаемом острове, один со своей болью — верным своим Пятницей».

Авторская мысль ясна. Да, жизнь каждую минуту может поставить нас перед выбором — помочь или уклониться от помощи, быть Человеком или потерять право на это высокое и ответственное звание.

Спасли девчонку другие люди, а мог он, и девчонка вправе резко отвергнуть запоздалую помощь Круглякова. Выходит, спасать теперь надо самого Алешку, не дать укорениться в нем душевной черствости. А это невозможно, если он сам не осознает ответственности за себя, ибо с ответственности за себя начинается ответственность за других.

Писательница избегает столь прямолинейных выводов, они вытекают естественно из повествования. Жизнь — непрерывный экзамен по самому сложному предмету — нравственности. Зинаида Чигарева, убеждает читателя, верна своей теме, доказывая, что человек становится человеком, когда делает добро, поможет кому-либо в трудный час. Спасет — неважно — ближнего ли своего, или дальнего, чужого...

Художественная литература — всем известна — сильна обобщениями, держится на них. Рассматривая творчество Зинаиды Чигаревой с этой самой главной точки зрения, мы найдем в новой книжке не только крепко сделанные, но и вещи слабые. Есть тут, к примеру, небольшой рассказ «Телефон». В нем поведана некая конфетно-сладкая история о любви. Раньше подобные истории именовались «рождественскими рассказами». В основе тут частный случай да и стиль какой-то приторный.

Но, к счастью, не подобные вещи определяют сегодня существо творчества Чигаревой. Сила ее писательского дарования окрепла, она оказалась способной сделать произведение

большой формы. Речь идет о повести «Когда любишь...» Снова тема любви и человечности, извечная из тем. Прямо скажем, получилось произведение захватывающее, оригинальное, с высокими художественными достоинствами.

Как и в рассказе «Концерт для скрипки с оркестром», здесь в центре опять семья, заботы, дети, женщина, у которой не состоялись мечты молодости.

Но вчитайтесь в повесть. И вы поймете: тут все проблемы «перепаханы» глубже, больше того — автору удалось выразить откровенно и смело свой взгляд на таинственно-тревожное чувство любви. [Это история любви, рассказанная умно и добро.] Свое слово сказалось потому, что писательница повествует о любви, не морализируя, говорит о ней, как о самом сокровенном, считая любовь одной из прочных и неразрушимых основ человеческого бытия.

Знакомя нас с главной героиней — спортсменкой Женей, писательница намеренно не выделяет в ней никаких особо выдающихся качеств. Как у любого человека, у Жени есть своя личная мечта — достичь совершенства в избранном деле (занимается она художественной гимнастикой). Обычный круг знакомых и друзей, люди, с которыми Жена учится и занимается спортом.

Очередная поездка на соревнования. Встреча в поезде с Андреем. Это как электрический разряд. Жена полюбила этого человека и настойчиво ищет его, потерявшегося в бурном потоке жизни. Когда же находит, оказывается, что Андрей женился. С этих пор Жена начинает борьбу за свою любовь. Но с кем борьба? Ведь жена Андрея Анюта — милое доброе существо.

Большого такта и художественной деликатности потребовалось автору, дабы не приземлать, не ополгать идею произведения. Чигарева бережно относится к своим героям. Она раскрывает и тревожную трепетность Анюты, и всепоглощающую страсть Жени, пусть объективно безжалостную. Разве не бывает таких остродраматических коллизий в повседневной жизни? Да сколько угодно!

Новая повесть Зинаиды Чигаревой — это история любви, рассказанная добро и умно. В творческой судьбе писательницы произведение это имеет особое значение. Оно знаменует собой более высокую степень художественной зрелости, способность автора решать сложные проблемы.

В самом деле, Зинаида Чигарева раскрывает внутренний мир своих героев, по-своему исследуя так называемый «любовный треугольник». Задача — рассказать о взаимоотношениях троих любящих людей — трудна, если не идти в изображении по линии наименьшего сопротивления. Справедливо отмечал в предисловии к книге лауреат Государственной премии

СССР Александр Никитич Волошин, что в повести «Когда любишь...» автору «удалось счастливо избежать одной досадной вещи, которая почти всегда сопровождает так называемую борьбу за счастье. Я говорю о человеческом эгоизме. Нет этого. Есть любовь, с падениями и взлетами надежд, а мелконького эгоизма нет. И в этом опять угадывается характерная особенность авторского почерка. Не все, конечно, в повести и рассказах такие уж славенькие, но главный мотив книги — это все же человеческая доброта». Такова оценка творчества Зинаиды Чигаревой старшим товарищам по перу. Высокая оценка!

Возможно, кого-нибудь такое заявление не убедит. Ведь героиня повести Жена вторгается в семью Анюты и Андрея. Нет ли здесь противоречия или, по крайности, защиты этого самого эгоизма? Нет. Жено толкает на решительный шаг огромное чувство любви к Андрею. В то же время Жена с уважением относится к Анюте. Запутанная, что и говорить, ситуация. Распорядилась, как обычно бывает, судьба. Внезапно, безвременно уходит из жизни Анюта. И теперь для Жени к непроходимому чувству к Андрею прибавляется ответственность за маленького сына Анюты. Сама еще не испытав материнства, она становится мачехой. На такую тему тоже немало произведений в нашей литературе, упомянем хотя бы превосходную повесть Марии Халфиной «Мачеха», по которой поставлен удачный художественный фильм. Но если сравнить два эти произведения, то читатель, несомненно, убедится в яркой самобытности каждой вещи. Вот еще одно подтверждение того, что у Зинаиды Чигаревой — свой творческий почерк, своя манера. Это идет от умения художнически, то есть нешаблонно мыслить.

Основная мысль повести Чигаревой, на наш взгляд, заключается в доказательстве того, что у хороших людей много общего. Даже когда они разъединены жизнью, это общее не может их не сближать.

Есть в повести «Когда любишь...» вот такой запоминающийся эпизод: сын героини, которому мать читает сказки, всегда выясняет, хороший, плохой ли тот или иной сказочный персонаж. Малышу это крайне важно знать.

Важно это и для писательницы. Всем своим творчеством Зинаида Чигарева отвечает на такой вопрос. Ее ответ прост и оптимистичен: хороших людей вокруг больше, чем скверных, они заполняют мир, ими движется жизнь. Порой им живется сложно и несладко приходится. Но их доброта целеустремленна. Жизнь — не сказка, где к концу все благополучно. Но и сомнения, и противоречия, и даже удары судьбы, по мнению писательницы, еще не повод для нитя и безверия. Как не согласиться с такой позицией!

И еще об одной стороне творчества Зинаиды

ды Чigareвой хочется обязательно сказать. Думается, есть у нее тема благодатнейшая и не столь уж глубоко исследованная сегодняшней нашей литературой.

Это тема милосердия. Вспомним, как яростно ратовал за эту тему прекрасный писатель-психолог Василий Макарович Шукшин. Он выводил традицию милосердия из глубин русской классической литературы. Он и дал пример современного поворота темы милосердия, доказав, что усложнение жизненных обстоятельств, стремительность жизни сегодняшнего

человека не должны привести к очерствлению души.

Поэтому читая новую книгу прозы Зинаиды Чigareвой, мы ясно почувствуем, что в каждом рассказе и в повести тоже автор дарит свои симпатии людям добрым и отзывчивым, мужественно переносящим невзгоды, тем, кто стремится осуществить свои мечты и надежды путем человечности и добра. Но ни в коем случае за чужой счет.

Это сильная и надежная позиция.

В 1979 году Кемеровское книжное издательство

выпускает в свет следующие книги

ВЛАСОВ В. Техник Валька, Мерзавец и другие.
Повесть и рассказы о сибирских геологах.

ЕМЕЛЬЯНОВ Г. Далекие города. Бабьим летом.
Две повести о становлении молодого советского человека.

ЕСТАМОНОВА З. Сотворение Рябины.
Рассказы о художниках Кузбасса.

КОНЬКОВ В. Утренняя смена.
Рассказы и повесть о жителях шахтерских городов.

КУРОПАТОВ В. Зеленый луч.
Повесть и рассказы о наших современниках.

Дыхание земли родимой.
Стихи более тридцати авторов Кузбасса вошли в этот сборник.

ГЕРЖИДОВИЧ Л. Таволга.
Стихи молодого поэта из города Березовского.

МАТВЕЕВ В. Улыбка с нагрузкой.
Новый сборник юморесок и пародий автора нескольких юмористических книжек.

Веселая минутка

Владимир Матвеев

Миниатюры из новой сатирической книги, которая придет к любителям острого пера вот-вот, то есть совсем скоро, только надо еще чуть-чуть подождать. Книга будет называться «Улыбка с нагрузкой». И вот что примечательно: по доходящим слухам, продаваться она будет с улыбкой, но... без нагрузки.

В ЧЕЙ ОГОРОД КАМЕШКИ?

ВЗАИМНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ

Официантка:

— Мне, право, неловко,
Я Вас обсчитала,
мил человек.

«Мил человек»:

— Вы прелесть, плутовка,
мелочь — не деньги
в космический век.

От Вашей улыбки
душою я таю...

— Мерси. Заходите.
Еще обсчитаю.

НОВАТОРЫ ОТ ЭСТРАДЫ

Поиск становится
все интересней,
в эстраде
явные сдвиги намечены:
русские парни
русские песни
для русских поют
на заморском наречии.

ДИАЛОГ СО СЛЕСАРЕМ-САНТЕХНИКОМ

— Ждите,
В 4-12 приду.
— 4-12?!
Имеём в виду.

ПОПРАВКА К ФОРМУЛЕ

Не видя
дальше носа своего,
с природой
не живем мы в мире:
вода теперь
не только H_2O ,
но плюс H_2SO_4 .

БАНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Обещал.
Руку жал.
Сети плел.
Провожал,
Провожал...
И провел!

ИзяЧная СловесТность

(ИЗ РУКОПИСЕЙ,
ПРИСЛАННЫХ В РЕДАКЦИЮ)

● Его сердце металось в груди, как цепная собака по двору.

● Сразу было видно, что штаны на нем с чужого плеча.

● И родила она не Володькиного сына, а настоящую Володькину фотокарточку.

● Когда он пришел к ней свататься, она впервые посмотрела на него с другой стороны.

● Эта картина была стоном, вырвавшимся из художественной грудной клетки Переплетова.

● Мои стихи, как и стихи Пушкина, переживут его прах!

● В порядочном человеке брешь не должна зиять слабым местом.

● В деревню из города пришли тысячи рабочих рук.

● Помните, еще Лев Толстой придал дрожанию левой ноги Наполеона пророческий смысл?

● Половина души Стукачева уже умерла, а другая жила и не шевелилась.

● Ребята! Давайте учиться у Горького: он сам жил на разных днах. А разве мы хуже его? Или взять Циолковского. Он был великим человеком: он жил в Вятке.

● Это в капиталистическом мире женщина не может жить без мужа.

● Заканчивая это произведение, я вздохнул, что к нему не зарастет народная тропа...

● С огненным приветом и глубоким поклонном любитель изяЧной словесТности Алексей С.—ин. Если будете слать гонорар, то шлите по почте: жены я не боюсь.

Всего лишь собрал
Вл. Аильский

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЛЫБКЕ

БЕЗ СЛОВ

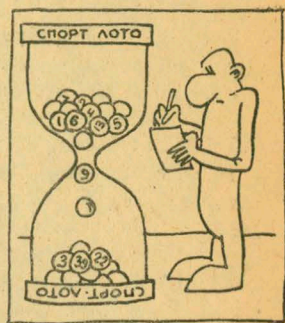


Рис. В. Андрианова

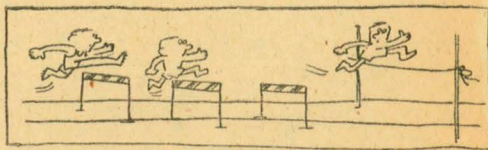


Рис. Г. Ефремова

Наши авторы

ПОТАШОВ Владимир Тимофеевич, родился в 1941 году в Пскове. Работает плотником в строительном-монтажном управлении. Его стихи печатались в журнале «Наш современник» и в альманахе «Огни Кузбасса». Живет в Кемерове.

ВЛАСОВ Владимир Аскольдович, родился в 1924 году. Автор книг: «Завтра связи не будет» и «Кара-Тайга». Работает начальником Терсинской геологоразведочной партии.

Член Союза писателей.

КОВШОВ Валерий Васильевич, родился в 1948 году в деревне Красный Ключ Кемеровской области. Публиковался в альманахе «Огни Кузбасса». Живет в родной деревне.

ДУБРО Екатерина Владимировна. Прозаик, автор двух книг: «Вернусь звездопадом» и «Медленные часы». Живет в Юрге.

СКОРИК Любовь Трофимовна, родилась в Днепродзержинске. Работает редактором Кемеровского книжного издательства. Ее рассказы публиковались в альманахе «Огни Кузбасса».

ЦЕЙТЛИН Евсей Львович, родился в 1948 году в Омске. Окончил Уральский государственный университет. Критик, автор книги «Беседы в дороге, Всеволод Иванов — литературный наставник, критик, редактор». Живет в Кемерове.

БЕРСЕНЕВ Валерий Викторович, родился в 1952 году в Ленинграде. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Работает буровиком на разрезе. Его стихи публиковались в городских газетах. Живет в Междуреченске.

Поздравляем юбиляра



Восемнадцать лет назад пришла к читателю первая книга Владимира Сергеевича Ворошилова — роман «Солнце продолжает светить». Пришла и стала настольной книгой сотен людей. Их письма автору говорили о том, как роман помогает бороться с трудностями, воспитывает стремление к победе над душевной слабостью, укрепляет волю и любовь к жизни.

Главный герой романа инженер Сергей Томилов, трагически потерявший зрение во время аварии на шахте и вставший в строй борцов за счастье и полноценную жизнь других людей, стал живым примером для подражания.

Роман Владимира Сергеевича Ворошилова во многом автобиографичен, хотя его автор никогда не был шахтером: он, 22-летним юношей, только что закончившим военно-авиационное училище, в самом начале Великой Отечественной войны был направлен на Северо-Западный фронт и в боях подо Ржевом был тяжело ранен осенью 1941 года. Зрение было потеряно. Жизнь нужно было начинать заново. Но беда не сломила его. Он вернулся к работе.

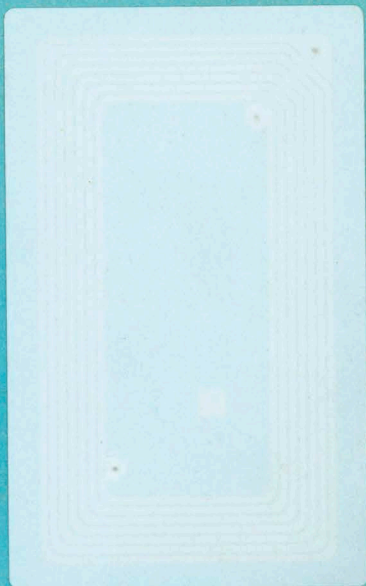
С 1945 года возглавляет Кемеровское областное правление Всесоюзного общества слепых, ведет большую и важную работу по организации и возвращению в строй людей, лишенных зрения. За боевые и трудовые заслуги перед Родиной награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени. В 1964 г. принят в Союз писателей СССР.

Роман «Солнце продолжает светить» и его вторая часть «И не погаснет!» издавались массовыми тиражами в Кемерове и Москве, получили высокую оценку не только читателей, но и критики.

Свое 60-летие Владимир Сергеевич встречает работой над рукописью нового романа — «Капля света». Сердечно поздравляем юбиляра и желаем ему здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, творческого долголетия.

ЛИТЕРАТОРЫ КУЗБАССА

45 коп.



КЕМЕРОВО 1979